

БОРИС
АКУНИН



ЛЮБОВНИЦА
СМЕРТИ



Борис Акунин
Любовница смерти
Серия «Приключения
Эраста Фандорина», книга 9

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=118400*

Аннотация

В Москве открывается клуб «Любовников Смерти» – сообщество, члены которого один за другим добровольно сводят счеты с жизнью. Участники клуба уверены, что земная жизнь – посланное им наказание. Но хотя мучение это временное, его нельзя прерывать самовольно, не увидев знак, поданный Смертью. Каждый из них с нетерпением ожидает этого знамения, а, встретив его, немедленно кончает с собой, оставив предсмертную стихотворную записку.

Провинциалка Маша Миронова, приехавшая в Москву к возлюбленному Пете, принимает его приглашение присоединиться к тайному сообществу. Вскоре члены клуба берут в свою компанию и Эраста Фандорина, который твердо намерен положить конец череде самоубийств.

Содержание

| | |
|---|-----|
| Глава первая | 4 |
| I. Из газет | 4 |
| II. Из дневника Коломбины | 19 |
| Она прибыла в Город Грез тихим сиреневым вечером | 19 |
| Последний миг Клеопатры | 33 |
| Счастливый билет | 38 |
| Коломбина слышит голоса духов | 49 |
| Сброшенная куколка | 79 |
| Уходи | 82 |
| III. Из папки «Агентурные донесения» | 88 |
| Глава вторая | 93 |
| I. Из газет | 93 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 100 |

Борис Акунин

Любовница смерти

(декаданский детектив)

Автор благодарен Сергею Гандлевскому и Льву Рубинштейну, которые помогли персонажам этого романа – Гдлевскому и Лорелее Рубинштейн – написать красивые стихи.

Глава первая

I. Из газет

Самоотверженность четвероногого друга

Вчера в третьем часу пополудни жильцы доходного дома общества «Голиаф», что на Семеновской улице, были разбужены звуком падения некоего тяжелого предмета, после чего раздался протяжный вой. Выл пойнтер фотографа С., снимавшего ателье в мансарде.

Вышедший на шум дворник посмотрел вверх и увидел освещенное окно, на подоконнике коего стояла собака и выводила душераздирающие рулады. В следующий миг дворник заметил лежащее внизу недвижимое тело самого С., которое, по всей видимости, и являлось предметом, чье падение произвело столько шуму. Внезапно, прямо на глазах у пораженного дворника, пойнтер прыгнул вниз и, упав неподалеку от труп своего хозяина, расшибся о булыжную мостовую.

Существует множество легенд о собачьей преданности, однако же самоотверженность, преодолевающая инстинкт самосохранения и презирающая самую смерть, у четвероногих встречается крайне редко. И уж тем более редки среди наших меньших братьев случаи явного самоубийства.

Первоначально у полиции возникло предположение, что С., отличавшийся беспорядочным и не вполне трезвым образом жизни, выпал из окна по случайности, однако судя по стихотворной записке, которая была найдена в квартире, фотограф наложил на себя руки. Мотивы этого отчаянного поступка неясны. Соседи и знакомые С. утверждают, что никаких причин для сведения счетов с жизнью у него не было и что, напротив, в последние дни С.

пребывал в самом приподнятом настроении.

Л.Ж.

«Московский курьер» 4(17) августа 1900 г.

6-ая страница

ТАЙНА РОКОВОЙ ПИРУШКИ РАСКРЫТА

Невероятные подробности трагического происшествия в Фурманном переулке.

Как уже сообщалось третьего дня, именины, устроенные гимназическим учителем Соймоновым для четверых сослуживцев, закончились самым печальным образом. И хозяин, и гости были найдены вокруг накрытого стола бездыханными. Вскрытие мертвых тел обнаружило, что причиной смерти всех пятерых стала бутылка портвейна «Кастелло», содержавшего чудовищную дозу мышьяка. Это известие всколыхнуло весь город, и спрос в винных лавках на вышеозначенную марку портвейна, прежде любимого москвичами, совершенно прекратился. Полиция начала дознание на разливочном заводе братьев Штамм, поставляющем «Кастелло» виноторговцам.

Однако ныне со всей достоверностью можно

утверждать, что почтенный напиток ни в чем не повинен. В кармане сюртука Соймонова найден листок со стихотворением следующего содержания:

Прощальная

Без любви жить невозможно!

Озираться осторожно.
Подхихивать натужно
Мне теперь уже не нужно.

Всё, насмешливые люди,
Позабавились, и будет.
Пособите молодцу
Приготовиться к венцу.

Пред разверстою могилой
Крикну той, что мне открыла
Тайну страшную любви:

«Как цветок, меня сорви!»

Смысл этого предсмертного послания туманен, однако же совершенно очевидно, что Соймонов имел намерение уйти из жизни и яд в бутылку подсыпал сам. Мотивы этого безумного деяния неясны. Самоубийца был человеком замкнутым и чудаковатым, однако

без явных признаков душевного недуга. Как удалось выяснить вашему покорному слуге, покойный не пользовался любовью в гимназии: среди учащихся он слыл учителем строгим и скучным, коллеги же осуждали его за желчность и гордость, а некоторые потешались над его своеобразной манерой поведения и болезненной скупостью. Однако всё это вряд ли можно счесть достаточным основанием для столь чудовищного злодеяния.

Соймонов не имел ни семьи, ни прислуги. По свидетельству квартирной хозяйки г-жи Г., он часто отлучался по вечерам и возвращался далеко за полночь. Среди бумаг Соймонова обнаружено множество черновых набросков к стихотворениям весьма мрачного содержания. Никто из сослуживцев не знал, что покойный сочиняет стихи, а некоторые из опрошенных, будучи поставлены в известность о поэтических опытах сего «человека в футляре», даже отказывались в это верить.

Приглашение на именины, закончившееся столь ужасным образом, стало для гимназических коллег Соймонова полнейшей неожиданностью. Никогда прежде он гостей к себе не звал, да и пригласил тех четверых, с кем у него были самые скверные отношения и кто, по многочисленным свидетельствам, более всего над ним насмешничал. Несчастные согласились,

решив, что Соймонов наконец вознамерился наладить отношения с сослуживцами и еще (как выразился инспектор гимназии г. Сердоболин) «из понятного любопытства», ибо дома у мизантропа прежде никто не бывал. К чему привело любопытство, известно.

Совершенно очевидно, что отравитель решил не просто подвести черту своей постылой жизни, но еще и прихватить с собой обидчиков, тех самых «насмешливых людей», о которых поминается в стихотворении. Однако что могут означать слова о той, которая «открыла тайну страшную любви»? Уж не скрыта ли за этой макабрической историей женщина?

Л. Жемайло

«Московский курьер» 11(24) августа 1900 г.

2-ая страница

В МОСКВЕ ДЕЙСТВУЕТ КЛУБ САМОУБИЙЦ?

***Наш корреспондент проводит
собственное расследование и
высказывает зловещую догадку!***

Выяснены обстоятельства потрясшего всю

Москву самоубийства новоявленных Ромео и Джульетты – 22-летнего студента Сергея Шутова и 19-летней курсистки Евдокии Ламм (см., в частности, нашу статью «Нет повести печальнее на свете» от 16 августа). Газеты сообщали, что влюбленные одновременно – очевидно, по сигналу – выстрелили друг другу в грудь из двух пистолетов. При этом девица Ламм была сражена наповал, а Шутов получил тяжелое ранение в область сердца и был доставлен в Мариинскую больницу. Как известно, он находился в полном сознании, однако на вопросы не отвечал и только повторял: «Почему? Почему? Почему?». За минуту до того, как испустить дух, Шутов вдруг улыбнулся и тихо произнес: «Я уйду. Значит, она меня любит». Сентиментальные репортеры усмотрели в этой кровавой истории романтическую драму любви, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что любовь тут совершенно ни при чем. Во всяком случае, *любовь между участниками трагедии.*

Вашему покорному слуге удалось выяснить, что никаких препятствий на пути предполагаемых Ромео и Джульетты, буде они пожелали бы соединиться брачными узами, не имелось. Родители г-жи Ламм – люди вполне современные. Ее отец – ординарный профессор Московского университета, известный в кругу студенчества

своими передовыми взглядами. По его словам, он никогда не стал бы противиться счастью обожавшей дочери. Шутов же был совершеннолетним и обладал хоть небольшим, но вполне достаточным для безбедного существования капиталом. Получается, что при желании эта пара легко могла бы обвенчаться! Зачем же тогда простреливать друг другу грудь?

Эта мысль не давала нам покоя ни днем ни ночью и побудила произвести некоторые изыскания. В результате обнаружилось нечто весьма странное. Люди, близко знавшие обоих самоубийц, в один голос утверждают, что Ламм и Шутов находились в обычных приятельских отношениях и пылких чувств друг к другу отнюдь не испытывали.

Что ж, предположили мы. Знакомые часто бывают слепы. Быть может, у юноши и девицы были какие-то основания тщательно скрывать свою страсть от посторонних.

Однако сегодня к нам в руки попало (не спрашивайте, каким образом – это журналистская тайна) стихотворение, написанное самоубийцами перед смертоносным залпом. Это поэтическое произведение весьма необычного свойства, и даже, возможно, не имеющее прецедента. Оно написано двумя почерками – очевидно, Шутов и Ламм, чередуясь, писали по

строчке каждый. Таким образом, перед нами плод *коллективного* творчества. Содержание стихотворения заставляет совершенно по-иному взглянуть как на смерть странных Ромео и Джульетты, так и на всю череду таинственных самоубийств, произошедших в Белокаменной за последние недели.

Он был в белом плаще. Он стоял на пороге.
Он был в белом плаще. Он в окно заглянул.
«Я посланец любви. Я к тебе от Нее».
«Ты невеста Его. Я пришел за тобой».
Так сказал он и руки ко мне протянул.
Так сказал он. Как голос был чист и глубок!
И глаза его строгие были черны.
И глаза его нежные были светлы.
Я сказал: «Я готов. Я давно тебя жду».
Я сказала: «Иду. Передай: я иду».

Здесь сплошные загадки. Что означает «белый плащ»? От кого явился посланец – от Нее или от Него? Где он все-таки стоял – на пороге или за окном? И какого, собственно, цвета были глаза у этого интригующего господина – черные и строгие или светлые и нежные?

Здесь нам вспомнились недавние и, на первый взгляд, такие же беспричинные самоубийства фотографа Свиридова (см. нашу заметку от 4 августа) и учителя Соймонова (см. наши статьи от 8 августа и от 11 августа). В каждом случае было

оставлено предсмертное стихотворение, что, согласитесь, встречается в нашей прозаической России не столь уж часто!

Жаль, что полиция не сохранила записку фотографа Свиридова, но и без нее пищи для размышлений и предположений вполне достаточно.

В прощальном стихотворении Соймонова упоминалась таинственная особа, открывшая отравителю «тайну страшную любви» и после сорвавшая его, «как цветок». К Шутову явился посланец любви от Нее – неназванной персоны женского пола; к Ламм – от некоего жениха, которого почему-то тоже необходимо именовать с заглавной буквы.

Так не резонно ли предположить, что любвеобильное лицо, фигурирующее в поэтических творениях трех самоубийц и вызывающее у них благоговейный трепет, есть сама смерть? Тогда многое проясняется: страсть, подталкивающая влюбленного не к жизни, а к могиле, – это любовь к смерти.

У вашего покорного слуги уже не остается сомнений в том, что в Москве, по примеру некоторых европейских городов, образовалось тайное общество смертепоклонников – безумцев, влюбленных в смерть. Дух неверия и нигилизма, кризис нравственности и искусства, а еще более того опасный демон, имя которому Конец Века

– вот бациллы, породившие эту смертельно опасную язву.

Мы задались целью узнать как можно больше об истории загадочных сообществ, именуемых «клубами самоубийц», и вот какие сведения нам удалось собрать.

Клубы самоубийц – явление не чисто российское и даже вовсе не российское. Доселе подобных чудовищных организаций в пределах нашей империи не существовало. Но, видно, двигаясь вслед за Европой по пути «прогресса», не миновать и нам сего пагубного поветрия.

Первое историческое упоминание о добровольном объединении смертепоклонников относится к первому столетию до христианской эры, когда легендарные любовники Антоний и Клеопатра создали «Академию не расстающихся в смерти» – для тех влюбленных, кто «захочет умереть вместе: тихо, светло и тогда, когда пожелают». Как известно, это романтическое начинание закончилось не вполне идиллически, поскольку в решающий момент великая царица все же предпочла расстаться с побежденным Антонием и попыталась сохранить себе жизнь. Когда же выяснилось, что ее хваленые чары на хладного Октавиана не действуют, Клеопатра все-таки наложила на себя руки, проявив вдумчивость и вкус, достойные античности: долго выбирала

наилучший способ самоубийства, испытывая на рабах и преступниках всевозможные яды, и в конце концов предпочла укус египетской кобры, не вызывающий почти никаких неприятных ощущений, если не считать легкой головной боли, которая, впрочем, быстро сменяется «непреодолимым желанием смерти».

Но это легенда, скажете вы, или, во всяком случае, дела давно минувших дней. Современный человек слишком приземлен и материалистичен, слишком цепляется за жизнь, чтобы учреждать подобные «академии».

Что ж – обратимся к просвещенному XIX столетию. Именно оно стало эпохой невиданного расцвета для клубов самоубийц – людей, объединяющихся в тайную организацию с одной-единственной целью: уйти из жизни без огласки и скандала.

Еще в 1802 году в безбожном послереволюционном Париже возник клуб из 12 членов, состав которого по понятной причине постоянно обновлялся. Согласно уставу, очередность ухода из жизни определялась карточной игрой. В начале каждого нового года избирался председатель, обязанный покончить с собой до истечения срока своих полномочий.

В 1816 году «Кружок смерти» возник в Берлине. Шестеро его членов не делали тайны из своего намерения, а, напротив, всячески пытались

привлечь новых участников. Согласно правилам, «узаконенным» почиталось лишь самоубийство при помощи пистолета. В конце концов «Кружок смерти» прекратил существование, потому что все желающие перестрелялись.

Затем клубы смертников перестали быть чем-то экзотическим и превратились чуть ли не в обязательный атрибут больших европейских городов. Правда, из-за преследований со стороны закона эти сообщества были вынуждены перейти на строжайшую конспирацию. По имеющимся у нас сведениям, «клубы самоубийц» существовали (а возможно, существуют и поныне) в Лондоне, Вене, Брюсселе, тех же Париже и Берлине, и даже в захолустном Бухаресте, где игра с фортуной «на вылет» считается модной забавой среди молодых богатых офицеров.

Самая шумная слава выпала на долю Лондонского клуба, в конце концов разоблаченного и разгромленного полицией, но перед этим успевшего поспособствовать отправке в мир иной двух десятков своих членов. Выйти на след смертепоклонников удалось лишь благодаря измене, проникшей в их сплоченные ряды. Один из соискателей имел неосторожность влюбиться, вследствие чего проникся жгучей симпатией к жизни и лютым отвращением к смерти. Этот отступник

согласился дать показания. Выяснилось, что в строго засекреченный клуб принимали только тех, кто сумеет доказать серьезность своего решения. Очередность определялась жребием: играли в карты, и выигравший получал право умереть первым. Все бросались его поздравлять, устраивали в честь «счастливец» банкет. Сама смерть во избежание нежелательных слухов обставлялась как несчастный случай, в организации которого участвовали другие члены братства: роняли с крыши кирпич, сбивали избранника каретой и прочее.

Нечто похожее приключилось и в австро-венгерском Сараеве, только с более мрачным исходом. Там существовала организация самоубийц, именовавшая себя «Клубом знающих» и насчитывавшая не менее 50 членов. По вечерам они собирались, чтобы тянуть жребий – брали из колоды по карте, пока не выпадет череп. Вытянувший роковую карту должен был умереть в течение 24 часов. Один молодой венгр заявил товарищам, что выходит из игры, потому что полюбил и хочет жениться. Его согласились отпустить с условием, что он напоследок еще раз примет участие в жеребьевке. На первом круге молодому человеку достался червовый туз, символ любви, а на втором – череп. Будучи человеком слова, он застрелился. Безутешная невеста донесла

на «знающих» в полицию, в результате чего эта печальная история сделалась достоянием общественности.

Судя по тому, что происходит в последние недели в Москве, наши смертепоклонники мнения общественности не боятся и не слишком озабочены оглаской – во всяком случае, они не принимают никаких мер для сокрытия плодов своей деятельности.

Обещаю читателям «Курьера», что расследование будет продолжено. Если в Первопрестольной в самом деле появилась тайная лига безумцев, играющих со смертью, общество должно об этом знать.

Лавр Жемайло

«Московский курьер»

22 августа (4 сентября) 1900 г.

1-ая страница с продолжением на 4-ой.

II. Из дневника Коломбины

Она прибыла в Город Грез тихим сиреневым вечером

Всё было продумано заранее, до мелочей.

Сойдя с иркутского поезда на перрон Рязанского вокзала, Маша полминутки постояла, зажмурившись и вдыхая запах Москвы – цветочный, мазутный, бубличный. После открыла глаза и громко, на весь перрон, продекламировала четверостишие, сочиненное третьего дня, при пересечении границы между Азией и Европой.

Обломком кораблекрушенья
В пучины вспененную пасть
Без слов, без слез, без сожаленья
Упасть, взлететь и вновь упасть!

На звонкоголосую барышню с толстой косой через плечо заглядывались – кто с любопытством, кто неодобрительно, один купчишка даже покрутил пальцем у виска. В общем, первую в Машинной жизни *публичную акцию*, пускай совсем крохотную, можно было

счесть удавшейся. Погодите, то ли еще будет.

Поступок был символичным, с него начинался отсчет новой эпохи, рискованной и раскованной.

Уезжала-то тихо, безо всякой публичности. Оставила папеньке с маменькой на столе в гостиной длинное-предлинное письмо. Постаралась объяснить и про новый век, и про невозможность иркутского прозябания, и про поэзию. Все листки слезами закапала, да только разве они поймут! Случись такое еще месяц назад, до дня рождения, побежали бы в полицию – возвращать беглую дочку насильно. А теперь извините – Марья Ивановна Миронова достигла совершеннолетия и может устраивать жизнь по собственному разумению. И наследством своим, доставшимся от тетки, тоже вольна распоряжаться, как заблагорассудится. Капитал невеликий, всего пятьсот рублей, но на полгода хватит, даже при знаменитой московской дороговизне, а загадывать на больший срок пошло и бескрыло.

Назвала извозчику отель «Элизиум», о котором слышала еще в Иркутске и уже тогда пленилась текущим, как серебристая ртуть, названием.

Пока ехала в коляске, всё оглядывалась на большие каменные дома, на вывески и отчаянно боялась. Огромный город, целый мильон жителей, и ни одному из них, *ни одному*, нет дела до Маши Мироновой.

Погоди, пригрозила она Городу, ты меня еще узнаешь. Я заставлю тебя восхищаться и негодовать, а твоей любви мне не нужно. И даже если ты раздавишь меня своими каменными челюстями, всё равно. Обратной дороги нет.

Хотела себя ободрить, а сама только еще пуще оробела.

И совсем уж сникла, когда вошла в сияющий электричеством бронзово-хрустальный вестибюль «Элизиума». Позорно записалась в регистрационной книге «Марьей Мироновой, обер-офицерской дочерью», хотя задумано было назваться каким-нибудь особенным именем: «Аннабеллой Грэй» или просто «Коломбиной».

Ничего, Коломбиной она станет с завтрашнего дня, когда превратится из серого провинциального мотылька в яркокрылую бабочку. Зато номер был снят самый дорогой, с видом на реку и Кремль. И пускай ночь в этой раззолоченной бонбоньерке обойдется в целых пятнадцать рублей! То, что здесь произойдет, она будет вспоминать до конца своих дней. А завтра можно найти жилье попроще. Непременно в мансарде или даже на чердаке, чтобы никто не шаркал над головой войлочными туфлями, и пусть сверху только крыша, по которой скользят грациозные кошки, а выше лишь черное небо и равнодушные звезды.

Насмотревшись в окно на Кремль и распаковав чемоданы, Маша села за стол, раскрыла тетрадочку в сафьяновом переплете. Немного подумала, покусывая карандаш. Стала писать.

«Сейчас все ведут дневник, всем хочется казаться значительнее, чем они есть на самом деле, а еще больше хочется победить умирание и остаться жить после смерти – хотя бы в виде тетрадки в сафьяновом переплете. Одно это должно было бы отвлечь меня от затеи вести дневник, ведь я давно, еще с первого дня нового двадцатого века, решила не быть, как все. И всё же – сижу и пишу. Но это будут не сентиментальные вздохи с засушенными незабудками между страницами, а настоящее произведение искусства, которого еще не бывало в литературе. Я пишу дневник не оттого, что боюсь смерти или, скажем, хочу понравиться чужим, неизвестным мне людям, которые когда-нибудь прочтут эти строки. Что мне за дело до людей, я их слишком хорошо знаю и вполне презираю. Да и смерти я, может быть, нисколько не боюсь. Что ж ее бояться, когда она – естественный закон бытия? Всё, что родилось, то есть имеет начало, рано или поздно закончится. Если я, Маша Миронова, явилась на свет двадцать один год и один месяц назад, то однажды непременно наступит день,

когда я этот свет покину, и ничего особенного. Надеюсь только, что это произойдет прежде, чем мое лицо покроется морщинами».

Перечла, поморщилась, вырвала страничку.

Какое же это произведение искусства? Слишком плоско, скучно, обыденно. Надо учиться излагать свои мысли (для начала хотя бы на бумаге) изысканно, благоуханно, пьяняще. Приезд в Москву следовало описать совсем по-другому.

Маша подумала еще, покусывая теперь уже не карандаш, а пушистый хвост золотистой косы. По-гимназически склонила голову, застрочила.

«Коломбина прибыла в Город Грез тихим сиреневым вечером, на последнем вздохе ленивого, долгого дня, который она провела у окошка легкого, как стрела, курьерского поезда, что мчал ее мимо темных лесов и светлых озер на встречу с судьбой. Попутный ветерок, благосклонный к тем, кто рассеянно скользит по серебристому льду жизни, подхватил Коломбину и унес за собой; долгожданная свобода поманила легкомысленную искательницу приключений, зашелестев над ее головой ажурными крыльями.

Поезд доставил синеглазую путницу не в бравурный Петербург, а в печальную и

таинственную Москву – Город Грез, похожий на заточенную в монастырь, век вековать, царицу, которую ветреный и капризный властелин променял на холодную, змеиноглазую разлучницу. Пусть новая царица правит бал в мраморных чертогах, отражающихся в зеркале балтийских вод. Старая же выплакала ясные, прозрачные очи, а когда слезы иссякли – смирилась, опростилась, проводит дни за пряжей, а ночи в молитвах. Мне – с ней, брошенной, нелюбимой, а не с той, что победно подставляет холеный лик тусклому северному солнцу.

Я – Коломбина, пустоголовая и непредсказуемая, подвластная только капризу своей прихотливой фантазии и дуновению шального ветра. Пожалейте бедняжку Пьеро, которому выпадет горький жребий влюбиться в мою конфетную красоту, моя же судьба – стать игрушкой в руках коварного обманщика Арлекина, чтоб после валяться на полу сломанной куклой с беззаботной улыбкой на фарфоровом личике...»

Снова перечла и теперь осталась довольна, но дальше пока писать не стала, потому что начала думать про Арлекина – Петю Лилейко (Ли-лей-ко – что за легкое, веселое имя, точно звон колокольчика или весенняя капель!). Он и в самом деле приехал вес-

ной, ворвался в иркутскую недо-жизнь, как рыжий лис в сонный курятник. Околдовал нимбом огненных, рассыпанных по плечам кудрей, широкой блузой, дурманящими стихами. Раньше Маша лишь вздыхала о том, что жизнь – пустая и глупая шутка, он же небрежно, как нечто само собой разумеющееся, обронил: истинная красота есть только в увядании, угасании, умирании. И провинциальная грезёрка поняла: ах, как верно! Где же еще быть Красоте? Не в жизни же! Что там, в жизни, может быть красивого? Выйти замуж за податного инспектора, нарожать детей и шестьдесят лет просидеть в чепце у самовара?

На высоком берегу, у беседки, московский Арлекин поцеловал млеющую барышню, прошептал: «Из жизни бледной и случайной я сделал трепет без конца». И тут бедная Маша совсем пропала, потому что поняла: в этом – соль. Стать невесомой бабочкой, что трепещет радужными крылышками, и не думать об осени.

После поцелуя у беседки (а больше ничего и не было) она долго стояла перед зеркалом, смотрела на свое отражение и ненавидела его: круглолицая, румяная, с глупейшей толстой косой. И эти ужасные розовые уши, при малейшем волнении пламенеющие, как маки!

Потом Петя, отгостив у двоюродной бабушки, вице-губернаторовой вдовы, укатил на «Трансконтинен-

тале» обратно, а Маша принялась считать дни, оставшиеся до совершеннолетия, – выходило как раз сто, как у Наполеона после Эльбы. На уроках истории, помнится, ужасно жалела императора – надо же, вернуться к славе и величию всего на каких-то сто дней, а тут поняла: сто дней это ого-го сколько.

Но всё когда-нибудь кончается. Миновали и сто дней. Вручая дочери в день рождения подарок – серебряные ложечки для будущего семейного очага, – родители и не подозревали, что для них пробил час Ватерлоо. У Маши уж и выкройки невообразимо смелых нарядов собственного изобретения все были сделаны. Еще месяц тайных ночных бдений над швейной машинкой (тут-то время летело быстро), и сибирская пленница была совсем-совсем готова к превращению в Коломбину.

Всю долгую железнодорожную неделю воображала, как будет поражен Петя, когда откроет дверь и увидит на пороге – нет, не робкую иркутскую дурочку в скучном платице из белого муслина, а дерзкую Коломбину в развевающейся алой накидке и расшитой жемчугом шапочке со страусовым пером. Тут бесшабашно улыбнуться и сказать: «Как сибирский снег на голову, да? Делай со мной, что хочешь». Петя, конечно, задохнется от такой смелости и от ощущения своей безграничной власти над тонким, будто сотканным

из эфира созданием. Обхватит за плечи, вопьется жадным поцелуем в мягкие, податливые губы и повлечет незваную гостью за собой в окутанный таинственным сумраком будуар. А может быть, со страстью молодого необузданного сатира овладеет ею прямо там, на полу прихожей.

Однако живое воображение немедленно нарисовало сцену страсти в антураже зонтичных подставок и калош. Путешественница поморщилась, устремив невидящий взгляд на отроги Уральских гор. Поняла: алтарь грядущего жертвоприношения нужно подготовить самой, нельзя полагаться на волю случая. Тогда-то и всплыло в памяти чудесное слово – «Элизимум».

Что ж, пятнадцатирублевая декорация, пожалуй, была достойна священного обряда.

Маша – нет, уже не Маша, а Коломбина – обвела ласкающим взором стены, обитые лиловым атласом-муаре, пушистый узорчатый ковер на полу, воздушную мебель на гнутых ножках, покривилась на обнаженную наяду в пышной золотой раме (это уж слишком).

А потом заметила на столике, подле зеркала, предмет еще более роскошный – самый настоящий телефонный аппарат! Персональный, расположенный прямо в номере! Подумать только!

И сразу же возникла идея, по своей эффектности превосходящая первоначальную, – просто предстать на пороге. Предстать-то предстанешь, а ну как не застанешь дома? Да и провинциальной бесцеремонностью отдает. Опять же зачем ехать, если падение (которое одновременно и головокружительный взлет) произойдет здесь, на этой катафалкообразной кровати с резными столбиками и тяжелым балдахином? А телефонировать – это современно, элегантно, *столично*.

Петин отец – врач, у него дома обязательно должен быть аппарат.

Коломбина взяла со столика изящную брошюру «Московские телефонные абоненты» и – надо же – сразу раскрыла ее на букве «Л». Вот, пожалуйста: «Теренций Савельевич Лилейко, д-р медицины – 3128». Разве это не перст судьбы?

Она немножко постояла перед лакированным ящиком с блестящими металлическими кружками и колпачками, сконцентрировала волю. Отчаянным движением покрутила рычажок и, когда медный голос пропихал в трубку: «Центральная», быстро произнесла четыре цифры.

Пока ждала, вдруг сообразила, что заготовленная фраза для телефонного разговора не годится. «Какой сибирский снег? – спросит Петя. – Кто это говорит? И

с какой стати я должен с вами, сударыня, что-то делать?»

Для куражу раскрыла купленный на вокзале костяной японский портсигар и закурила первую в жизни папиросу (пахитоска, которую Маша Миронова один раз зажгла в пятом классе, не в счет – тогда она еще понятия не имела, что табачный дым полагается вдыхать). Оперлась локтем о столик, повернулась к зеркалу чуть боком, прищурила глаза. Что ж – недурна, интересна и даже, пожалуй, загадочна.

– Квартира доктора Лилейко, – послышался в трубке женский голос. – Кого вам угодно?

Курильщица немножко растерялась – почему-то была уверена, что подойдет непременно Петя, однако тут же выругала себя. Какая глупая! Разумеется, он живет не один. Там и родители, и прислуга, и еще, возможно, какие-нибудь братья и сестры. Получалось, что, в сущности, она знает о нем совсем немного: что он студент, пишет стихи, замечательно говорит о красоте трагической смерти. И еще что целуется он гораздо лучше, чем Костя Левониди, бывший будущий жених, решительно отставленный за скучную положительность и приземленность.

– Это знакомая Петра Теренциевича, – пролепетала Коломбина самым тривиальным манером. – Некто Миронова.

Через минуту в трубке зазвучал знакомый баритон с обворожительной московской растяжкой:

– Хелло? Это госпожа Миронова? Помощница профессора Зимина?

К этому моменту обитательница шикарного номера уже взяла себя в руки. Пустив в раструб аппарата струйку сизого дыма, прошептала:

– Это я, Коломбина.

– Кто-кто? – удивился Петя. – Так вы не госпожа Миронова с кафедры римского права?

Пришлось пояснить непонятливому:

– Помнишь беседку над Ангарой? Помнишь, как ты называл меня «Коломбиной»? – И сразу после этого отлично встала дорожная заготовка. – Это я. Как сибирский снег на голову. Приехала к тебе. Делай со мной, что хочешь. Знаешь отель «Элизиум»? – После звучного слова она сделала паузу. – Приезжай. Жду.

Проняло! Петя часто задышал и стал говорить гулко – вероятно, прикрыл трубку ладонью.

– Машенька, то есть Коломбина, я ужасно рад, что вы приехали... – Они и в самом деле были в Иркутске на «вы», но сейчас это обращение показалось искательнице приключений неуместным, даже оскорбительным. – Действительно, как снег... Нет, то есть это просто замечательно! Только прибыть к вам сейчас я никак не смогу. У меня завтра переекзаменовка. Да и

поздно, маменька пристанет с расспросами...

И дальше залепетал что-то уж совсем жалкое о проваленном экзамене и честном слове, данном отцу.

Отражение в зеркале захлопало светлыми ресницами, уголки губ поползли книзу. Кто бы мог подумать, что коварный соблазнитель Арлекин перед любовной эскападой должен отпрашиваться у маменьки. Да и зря потраченных пятнадцати рублей было ужасно жалко.

– Зачем вы в Москву? – прошептал Петя. – Неужто специально для того, чтобы свидеться со мной?

Она рассмеялась – получилось очень хорошо, с хрипотцой. Надо полагать, из-за папиросы. Чтобы не слишком заносился, сказала загадочно:

– Встреча с тобой – не более чем прелюдия к иной Встрече. Ты меня понимаешь?

И продекламировала из Петиного же стихотворения:

Жизнь прожить, как звенящую строчку.

Не колеблясь, поставить в ней точку.

Тогда, в беседке, прежняя, еще глупенькая Маша со счастливой улыбкой прошептала (теперь стыдно вспомнить): «Это, верно, и есть счастье». Московский гость снисходительно улыбнулся: «Счастье, Машень-

ка, это совсем другое. Счастье – не мимолетное мгновение, а вечность. Не запятая, а точка». И прочел стихотворение про строчку и точку. Маша вспыхнула, рывком высвободилась из его объятий и встала на самый край обрыва, под которым вздыхала темная вода. «Хочешь, поставлю точку прямо сейчас? – воскликнула она. – Думаешь, испугаюсь?»

– Вы... Ты это серьезно? – прозвучало в трубке совсем уж тихо. – Не думай, я не забыл...

– Еще бы не серьезно, – усмехнулась она, заинтригованная особенной интонацией, прозвучавшей в Петин голосе.

– Одно к одному... – зашептал Петя непонятное. – Как раз и вакансия... Рок. Судьба... Эх, была не была... Вот что... Давайте, то есть давай встретимся завтра, в четверть девятого... Да, именно в четверть... Ну где бы?

Сердце Коломбины забилося быстро-быстро – она попыталась угадать, какое место назначит он для свидания. Парк? Мост? Бульвар? А заодно попробовала сосчитать, по средствам ли будет оставить за собой номер в «Элизиуме» еще на одну ночь. Это выйдет тридцать рублей, целый месяц жизни! Безумие!

Но Петя сказал:

– Подле Ягодного рынка на Болоте.

– На каком еще болоте? – поразилась Коломбина.

– На Болотной площади, это близко от «Элизиума». А оттуда я повезу тебя водно совершенно особенное место, где ты повстречаешь совершенно особенных людей.

Он произнес это так таинственно, так торжественно, что Коломбина не испытала и тени разочарования – наоборот, явственно ощутила тот самый волшебный «трепет без конца» и поняла: приключения начинаются. Пусть не совсем так, как ей представлялось, но все же в Город Грез она приехала не зря.

До поздней ночи сидела в кресле у распахнутого окна, кутаясь в плэд, и смотрела, как по Москве-реке плывут темные баржи с покачивающимися фонариками.

Было ужасно любопытно, что это за «особенные люди» такие.

Поскорей бы уж наступил завтрашний вечер!

Последний миг Клеопатры

Когда Коломбина проснулась на необъятном ложе, так и не ставшем алтарем любви, до вечера все равно было еще очень далеко. Она понежилась на пуховой перине, протелефонировала на первый этаж, чтобы принесли кофе, и в ознаменование новой, утонченной жизни выпила его без сливок и сахару. Было горько и

невкусно, зато богемно.

В фойе, уже расплатившись за номер и сдав чемоданы в камеру хранения, пролистала страницы объявлений «Московских губернских ведомостей». Выписала несколько адресов, выбирая дома не ниже трех этажей и чтоб квартира была непременно на самом верху.

Поторговалась с извозчиком: он хотел три рубля, она давала рубль, столковались за рубль сорок. Цена хорошая, если учесть, что за эту сумму ванька взялся свозить барышню по всем четырем адресам, но получилось, что все одно переплатила – первая же квартира в самом что ни есть центре, в Китай-городе, так понравилась приезжей, что ехать дальше смысла не было. Попробовала откупиться от извозчика рублем (и то много, за пятнадцать-то минут), но он, психолог, сразил провинциалку словами: «У нас в Москве будь хоть вор, да держи уговор». Покраснела и заплатила, только потребовала, чтоб доставил из «Элизиума» багаж, и на этом стояла твердо.

Квартира была истинное загляденье. И месячная плата по московским ценам недорогая – как одна ночевка в «Элизиуме». В Иркутске за такие деньги, конечно, можно снять целый дом с садом и прислугой, ну так ведь тут не сибирская глушь, а Первопрестольная.

Да в Иркутске таких домов и не видавали. Высоченный, в шесть этажей! Двор весь каменный, ни травиночки. Сразу чувствуется, что живешь в настоящем городе, а не в деревне. Переулочек, куда выходят окна комнаты, узкий-преузкий. Если в кухне встать на табурет и выглянуть в форточку, видно кремлевские башни и шпили Исторического музея.

Жилье, правда, располагалось не в мансарде и не на чердаке, как мечтала Коломбина, но зато на последнем этаже. Прибавьте к этому полную меблировку, газовое освещение, чугунную американскую плиту. А сама квартира! Коломбина в жизни не видывала ничего столь восхитительно несуразного.

Как войдешь с лестницы – коридорчик. Из него направо вход в жилую комнату (единственную), из комнаты поворачиваешь налево и оказываешься в кухне, там налево опять проход, где ватер-клозет с умывальником и ванной, а дальше коридор опять выводил в прихожую. Получалось такое нелепейшее кольцо, непонятно кем и для какой надобности спроектированное.

При комнате имелся балкон, в который новоиспеченная москвичка сразу влюбилась. Был он широкий, с ажурной чугунной решеткой, и – что особенно пленяло своей бессмысленностью – в оградку врезана калитка. Зачем – непонятно. Может быть, строитель

предполагал прикрепить снаружи пожарную лестницу да потом передумал?

Коломбина отодвинула тугой засов, распахнула тяжелую дверку, глянула вниз. Под носками туфель, далеко-далеко, ехали маленькие экипажи, ползли куда-то игрушечные человечки. Это было так чудесно, что небожительница даже запела.

На другой стороне, только ниже, блестела железная крыша. Из-под нее чуть не до середины переулка выпятилась перпендикуляром диковинная жестяная фигура: упитанный ангел с белыми крыльями, под ним покачивающаяся вывеска

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЁБИУС И СЫНОВЬЯ.

С нами ничто не страшно».

Прелесть что такое!

Были, впрочем, и минусы, но несущественные.

Что элеватора нет, это пускай – долго ль взбежать на шестой этаж?

Озаботило другое. Хозяин честно предупредил будущую жиличку, что не исключается явление мышей или, как он выразился, «домашних грызунов-с». В

первую минуту Коломбина расстроилась – с детства боялась мышей. Бывало, услышит ночью перестук крохотных ножек по полу и сразу зажмурится до огненных кругов под веками. Но то было в прошлой, ненастоящей жизни, тут же сказала себе она. Коломбина – существо слишком легкомысленное и бесшабашное, чтобы чего-то пугаться. Они теперь ее союзники, эти быстрые, пружинистые зверьки, ибо, как и она, принадлежат не дню, а ночи. На худой конец, можно купить колбасы «Антикрысин». рекламу которой печатают «Ведомости».

Днем, отправившись на рынок за провизией (ох и цены же были в Москве!), Коломбина обзавелась еще одним союзником из ночного, лунного мира.

Купила у мальчишек за восемь копеек ужа. Он был маленький, переливчатый, в корзине сразу свернулся колечком и затих.

Зачем купила? А затем же – чтобы поскорей вытравить из себя Машу Миронову. Та, дуреха, змей еще больше, чем мышей боялась. Как увидит где-нибудь на лесной тропинке, то-то крику, то-то визгу.

Дома Коломбина, решительно закусив губу, взяла рептилию в ладони. Змейка оказалась не мокрая и скользкая, как можно было предположить по виду, а сухая, шершавая, прохладная. Крошечные глазенки смотрели на великаншу с ужасом.

Мальчишки сказали – класть змеюку в молоко, чтоб не скисло, а подрастет – сгодится мышей ловить. Однако Коломбине пришла в голову другая мысль, куда более интересная.

Первым делом она накормила ужа простоквашей (он поел и сразу пристроился спать); затем дала ему имя – Люцифер; после покрасила черной тушью желтые пятнышки по бокам головы – и получился не уж, а некое таинственное пресмыкающееся, очень возможно, что смертельно ядовитое.

Разделась перед зеркалом до пояса, приложила к обнаженной груди разомлевшую от сытости змею и залюбовалась: вышло inferнально. Чем не «Последний миг Клеопатры»?

Счастливый билет

К встрече с Арлекином она готовилась несколько часов и вышла из дому загодя, чтоб не спеша совершить свой первый парадный променад по московским улицам, дать городу возможность полюбоваться новой обительницей.

Оба – и Москва, и Коломбина – произвели друг на друга изрядное впечатление. Первая этим пасмурным августовским вечером была вялой, скучающей, блазированной; вторая – настороженной и нервной, гото-

вой к любимым неожиданностям.

Для московской премьеры Коломбина выбрала наряд, какого здесь наверняка еще не видывали. Шляпку как буржуазный предрассудок надевать не стала, распустила густые волосы, перетянула их широкой черной лентой, собрав ее сбоку, ниже правого уха, в пышный бант. Поверх шелковой лимонной блузы с испанскими рукавами и многослойным жабо надела малиновый жилет с серебряными звездочками; необъятная юбка – синяя, переливчатая, с бесчисленными сборками – колыхалась наподобие океанских волн. Важной деталью дерзкого костюма был оранжевый кушак с деревянной пряжкой. В общем, москвичам было на что посмотреть. А некоторых особенно приглядчивых ожидало и дополнительное потрясение: черная поблескивающая ленточка на шее умопомрачительной фланерки при ближайшем рассмотрении оказывалась живой змеей, которая по временам вертела туда-сюда узкой головкой.

Сопровождаемая охами и взвизгами, Коломбина гордо прошла через Красную площадь, через Москворецкий мост и повернула на Софийскую набережную, где гуляла приличная публика. Тут уж не только себя показывала, но и сама смотрела во все глаза, набиралась впечатлений.

Москвички одевались по большей части скучно:

прямая юбка и белая блузка с галстуком или шелковые платья тоскливых темных тонов. Впечатляла величина шляпок, которые в этом сезоне были что-то уж очень пышны. Экстравагантных дам и барышень почти не попадалось. Разве что одна, с развевающимся газовым шарфиком через плечо. Да еще проехала верхом пепельно-жемчужная амазонка под вуалью, держа в руке длинный янтарный мундштук с папиросой. Стильно, решила Коломбина, проводив амазонку взглядом.

Молодых людей в блузе и берете, с длинными волосами и бантом на груди в Москве, оказывается, водилось немало. Одного она по ошибке даже окликнула, приняв сзади за Петю.

К месту свидания явилась нарочно с двадцатиминутным опозданием, для чего пришлось пройти по набережной взад-вперед дважды.

Арлекин ждал подле фонтана, где извозчики поят лошадей, и был совершенно таким же, как в Иркутске, но здесь, среди гранитных набережных и тесно сдвинутых домов, Коломбине этого показалось недостаточно. Отчего он не изменился за эти месяцы? Отчего не стал чем-то большим, или чем-то новым, или чем-то другим?

И повел себя Петя как-то неправильно. Покраснел, замялся. Хотел поцеловать, но не решился— вместо

этого преглупо протянул руку. Коломбина взглянула на его ладонь с веселым недоумением, будто в жизни не видывала предмета забавней. Тогда он еще пуще смешался и сунул ей лиловые фиалки.

— Зачем мне эти трупики цветов? — капризно пожалала она плечами.

Подошла к извозничьей кобыле, протянула букетик ей. Савраска равнодушно накрыла фиалки большой дряблой губой и в два счета их сжевала.

— Скорей, мы опаздываем, — сказал Петя. — У нас это не принято. Там, перед мостом, конка останавливается. Идем!

Поглядывал на спутницу нервно, шепнул:

— На вас все смотрят. В Иркутске вы одевались иначе.

— Я тебя фраппирую? — с вызовом спросила Коломбина.

— Что вы... То есть, что ты! — испугался он. — Я же поэт и мнение толпы презираю. Просто очень уж необычно... Впрочем, неважно.

Неужто он меня стесняется, удивилась она. Разве Арлекины умеют стесняться? Оглянувшись на свое отражение в освещенной витрине и внутренне дрогнула — очень уж впечатляющий был наряд, но подступившая робость тут же была с позором изгнана. Это жалкое чувство навсегда осталось там, за рогатыми

уральскими горами.

В вагоне Петя вполголоса рассказывал о месте, куда едут.

– Такого клуба в России нигде больше нет, даже в Петербурге, – говорил он, щекоча ей ухо своим дыханием. – Что за люди, ты таких у себя в Иркутске не видела! У нас все под особенными именами, каждый сам себе выдумывает. А некоторых нарекает дож. Меня, например, он окрестил «Керубино».

– Керубино? – разочарованно переспросила Коломбина и подумала, что Петя и в самом деле куда больше похож на кудрявого пажа, чем на самоуверенно-победительного Арлекина.

Интонацию вопроса Петя понял неправильно – горделиво приосанился.

– Это еще что. У нас есть прозвища и почуднее. Аваддон, Офелия, Калибан, Гораций. А Лорелея Рубинштейн...

– Как, там бывает сама Лорелея Рубинштейн?! – ахнула провинциалка. – Поэтесса?

Было от чего ахнуть. Пряные, бесстыдно чувственные стихи Лорелеи доходили до Иркутска с большим опозданием. Передовые барышни, понимающие современную поэзию, знали их наизусть.

– Да, – с важным видом кивнул Керубино-Петя. – У нас ее прозвище – Львица Экстаза. Или просто Льви-

ца. Хотя, конечно, все знают, кто это на самом деле.

Ах, как сладко стиснулось у Коломбины в груди! Щедрая Фортуна открывала перед ней двери в самое что ни на есть избранное общество, и на Петю она теперь смотрела гораздо ласковей, чем прежде.

А он рассказывал дальше.

— Главный в кружке — Просперо. Человек, каких мало — даже не один на тысячу, а один на миллион. Он уже очень немолод, волосы все седые, но об этом сразу забываешь, столько в нем силы, энергии, магнетизма. В библейские времена такими, наверное, были пророки. Да он и есть вроде пророка, если вдуматься. Сам из бывших шлиссельбуржцев, много лет просидел в каземате за революционную деятельность, но о прежних своих воззрениях никогда не рассказывает, потому что совершенно отошел от политики. Говорит: политика — это для массы, а все, что массовое, красивым не бывает, ибо красота всегда единственна и неповторима. С виду Просперо суровый и часто бывает резким, но на самом деле он добрый и великодушный, все это знают. Тайком помогает деньгами тем из соискателей, кто нуждается. Он раньше, еще до крепости, был инженером-химиком, а теперь получил наследство и богат, так что может себе это позволить.

— Кто такие «соискатели»? — спросила она.

— Так называются члены клуба. Мы все поэты. Нас

двенадцать человек, всегда двенадцать. А Просперо у нас – дож. Это все равно что председатель, только председателя выбирают, а тут наоборот: дож сам выбирает, кого принимать в члены, а кого нет.

Коломбина встревожилась:

– Но если вас должно быть непременно двенадцать, то как же быть со мной? Я получаюсь лишняя?

Петя таинственно произнес:

– Когда один из соискателей венчается, на освободившееся место можно привести нового. Разумеется, окончательное решение принимает Просперо. Но прежде, чем я введу тебя в его дом, ты должна поклясться, что никогда и никому не передашь того, что я тебе поведал.

Венчается? Освободившееся место? Коломбина ничего не поняла, но, конечно, сразу же воскликнула:

– Клянусь небом, землей, водой и огнем, что буду молчать!

На нее заоборачивались с соседних скамеек, и Петя приложил палец к губам.

– А чем вы там занимаетесь? – перешла на шепот умирающая от любопытства Коломбина.

Ответ был торжественен:

– Служим Вечной Невесте и посвящаем Ей стихи. А некоторые, избранные счастливы, приносят Ей и высший дар – собственную жизнь.

– А кто это, вечная невеста?

Он ответил коротким, свистящим словом, от которого у Коломбины сразу пересохло во рту:

– Смерть.

– А... а почему смерть – это невеста? Ведь среди соискателей есть и женщины – та же Лорелея Рубинштейн. Зачем ей невеста?

– Это только так говорится, потому что по-русски «смерть» женского рода. Само собой, для женщин Смерть – Вечный Жених. У нас вообще всё очень поэтично. Для соискателей Смерть это как бы *la belle dame sans merci*, Прекрасная Дама, которой мы посвящаем стихи, а если понадобится, то и самое жизнь. Для соискательниц же Смерть – Прекрасный Принц или Заколдованный Царевич, это смотря по вкусу.

Коломбина сосредоточенно наморщила лоб:

– И как же свершается обряд венчания?

Тут Петя взглянул на нее так, будто перед ним была какая-нибудь дикая папуаска с костяшкой в носу. Недоверчиво прищурился:

– Ты что, не слыхала о «Любовниках Смерти»? Да об этом пишут все газеты!

– Газет не читаю, – надменно объявила она. – Это слишком обыкновенно.

– Господи! Так ты ничего не знаешь о московских

самоубийствах?

Коломбина осторожно помотала головой.

— Уже четверо наших обрुчились со Смертью. — Петя придвинулся ближе, его глаза заблестели. — И каждому сразу же нашлась замена! Еще бы — ведь о нас говорит весь город! Только никто не знает, где мы и кто мы! Если ты приехала в Москву, чтобы «поставить точку», тебе невероятно, фантастически повезло. Ты, можно сказать, вытащила счастливый билет. Обратилась именно к тому человеку, который действительно может тебе помочь. У тебя есть шанс уйти из жизни без пошлого провинциализма, умереть не как овца на бойне, а возвышенно, осмысленно, красиво! Может быть, мы даже уйдем с тобой вместе, как Моретта и Ликантроп. — Его голос вдохновенно зазвенел. — Как раз на вакансию Моретты я и хочу тебя предложить.

— А кто это — Моретта? — в восторге воскликнула Коломбина, заразившись его возбуждением, но по-прежнему еще ничего не поняв.

Она знала за собой этот недостаток — несообразительность. Нет, глупой она себя вовсе не считала (слава Богу, поумней многих), просто ум был немножко медленный — подчас сама на себя раздражалась.

— Моретта и Ликантроп — самые новейшие избранники, — шепотом объяснил Петя. — Получили Знак и тут же застрелились, одиннадцать дней назад. Место

Ликантропа уже занято. Вакансия Моретты – последняя.

У бедной Коломбины голова шла кругом. Она схватила Петю за руку.

– Знак? Какой знак?

– Смерть подает своему избраннику или избраннице Знак. Без Знака убивать себя нельзя – это строжайше запрещено.

– Да что это такое – Знак? Какой он?

– Он всякий раз иной. Это невозможно предугадать, но и ошибиться тоже невозможно...

Петя внимательно поглядел на побледневшую спутницу. Нахмурился:

– Испугалась? И правильно, у нас ведь не в игрушки играют. Смотри, еще не поздно уйти. Только помни про данную клятву.

Она и вправду испугалась. Не смерти, конечно, а того, что он сейчас передумает брать ее с собой. Очень кстати вспомнилась рекламная вывеска компании «Мёбиус».

– С тобой мне ничто не страшно, – сказала Коломбина, и Петя просиял.

Воспользовавшись тем, что она сама взяла его за руку, стал поглаживать пальцем девичью ладонь, и Коломбину охватило безошибочное предчувствие: сегодня *это* непременно свершится. Она ответила на

пожатие. Так они и ехали через площади, улицы и бульвары. Некоторое время спустя руки вспотели, и Коломбина, сочтя этот природный феномен вульгарным, пальцы высвободила. Однако Петя уже осмелел. Победительно положил ей руку на плечо. Погладил шею.

– Ожерелье из змеиной кожи? – шепнул в самое ухо. – Бонтонно.

Вдруг тихонечко вскрикнул.

Коломбина повернулась, увидела, как стремительно расширяются Петины зрачки.

– Там... там... – пролепетал он, не в силах пошевелиться. – Что это?

– Египетская кобра, – объяснила она. – Живая. Знаешь, Клеопатра такой себя убила.

Он дернулся, прижавшись к окну. Руки сцепил на груди.

– Не бойся, – сказала Коломбина. – Люцифер моих друзей не кусает.

Петя кивнул, глядя на подвижное черное ожерелье, но придвинуться больше не пытался.

Сошли на круто идущей вверх зеленой улице, которую Петя назвал Рождественским бульваром. Свернули в переулок.

Был уже десятый час, стемнело, и зажглись фонари.

– Вот он, дом Просперо, – тихонько сказал Петя, показав на одноэтажный особнячок.

Собственно, Коломбина разглядела в темноте лишь шесть зашторенных окон, наполненных изнутри таинственным красноватым сиянием.

– Ну что же ты встала? – поторопил остановившуюся спутницу Петя. – Полагается приходить ровно в девять, мы опаздываем.

А Коломбину в этот миг вдруг охватило непреодолимое желание развернуться и со всех ног побежать назад на бульвар, а потом вниз, к широкой тусклой площади, и дальше, дальше. Да не в тесную китайгородскую квартирку, пропади она пропадом, а прямоком на вокзал и чтобы сразу в поезд. Колеса застучат, начнут сматывать нитку железной дороги обратно, та снова свернется в клубок, и все будет, как раньше...

– Это ты встал, – сердито сказала Коломбина. – Давай, веди к твоим «любовникам».

Коломбина слышит голоса духов

Петя открыл входную дверь без стука, пояснив:

– Просперо прислуги не признает. Всё делает сам – привычка ссыльного.

В прихожей было совсем темно, и Коломбина ничего толком не разглядела, кроме уходящего вглубь

дома коридора да белой двери. В расположенном за дверью просторном салоне оказалось немногим светлей. Лампы там не горели – лишь несколько свечей на столе и еще, чуть в сторонке, чугунная жаровня с ало тлеющими углями. На стенах корчились кривые тени, на полках посверкивали золотом корешки книг, а сверху мерцала подвесками незажженная хрустальная люстра.

Лишь когда глаза немного свыклись с тусклым освещением, Коломбина поняла, что в комнате не так мало народу – пожалуй, человек десять, а то и больше.

Кажется, Петя Лилейко числился среди «соискателей» птицей невысокого полета. На его робкое приветствие кое-кто кивнул, прочие же продолжали тихо переговариваться между собой. Холодный прием смутил Коломбину, и она тут же решила, что будет держаться независимо. Подошла к столу, прикурила от свечки и громко, через всю гостиную, спросила своего спутника:

– Ну, который здесь Просперо?

Петя вжал голову в плечи. Стало очень тихо. Однако Коломбина увидела, что на нее смотрят с любопытством, и бояться сразу перестала – оперлась рукой о бедро, как на рекламе папирос «Кармен», и выпустила вверх струйку голубого дыма.

– Что вы, незнакомка, – сказал одутловатый госпо-

дин в чесучовой визитке, с виртуозно зачесанной проплешиной на темени. — Дож появится позже, когда всё будет готово.

Он подошел ближе, остановился в двух шагах и принялся бесцеремонно оглядывать Коломбину сверху донизу. Она ответила точно таким же взглядом.

— Это Коломбина, я привел ее кандидаткой, — виновато проблеял Петя, за что немедленно был наказан.

— Керубинчик, — сладким голосом сказала новенькая. — Разве маменька тебя не учила, что следует представлять мужчину даме, а не наоборот?

Чесучовый господин немедленно представился сам — прижал руку к груди, поклонился:

— Я — Критон. У вас сумасшедшее лицо, мадемуазель Коломбина. В нем упоительным образом соединяются невинность и разврат.

Судя по тону, это был комплимент, однако на «невинность» Коломбина обиделась.

— «Критон» — это, кажется, что-то из химии?

Хотела снасмешничать, показать тертому субъекту, что перед ним не какая-нибудь инженерю, а зрелая, уверенная в себе женщина. Увы, вместо этого срезалась хуже, чем на экзамене по литературе, когда назвала Гете вместо Иоганна-Вольфганга Иоганном-Себастьяном.

— Это из «Египетских ночей», — со снисходительной

улыбкой ответил чесучовый. – Помните?

Тра-та-та-та, молодой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура.
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.

Нет, Коломбина совсем этого не помнила. Она даже не помнила, кто такие Хариты.

– Любите ли вы предаваться любви ночью, на крыше, под рев урагана, когда тугие струи ливня хлещут ваше нагое тело? – не понижая голоса осведомился Критон. – А я очень люблю.

Бедная иркутянка не нашлась, что на это ответить. Оглянувшись на Петю, но тот, предатель, с озабоченным видом отошел в сторону, заведя разговор с бедно одетым молодым человеком, очень нехорошим собой: с выпуклыми горящими глазами, широким подвижным ртом и россыпью угрей на лице.

– У вас должно быть упругое тело, – предположил Критон. – Стреловидное и поджарое, как у молодой хищницы. Я так и вижу вас в позе изготавившейся к прыжку пантеры.

Что было делать? Как отвечать?

По иркутскому кодексу поведения следовало бы вклеить нагледцу оплеуху, но здесь, в кругу избранных, это было немыслимо – сочтут ханжой или, того хуже,

жеманной провинциалкой. Да и что тут оскорбительного, сказала себе Коломбина. В конце концов этот человек говорит, что думает, а это честнее, чем заводить с понравившейся женщиной разговор о музыке или каких-нибудь там язвах общества. На «младого мудреца» Критон нисколько не походил, и все же от его дерзких речей Коломбину бросило в жар – прежде с ней никогда так не разговаривали. Она присмотрелась к откровенному господину повнимательней и решила, что он, пожалуй, чем-то похож на лесного бога Пана.

– Я хочу научить вас страшному искусству любви, юная Коломбина, – проворковал козлоногий обольститель и стиснул ее руку – ту самую, которую еще недавно сжимал Петя.

Коломбина стояла словно одеревеневшая и послушно позволяла мять свои пальцы. С папиросы на пол упал столбик пепла.

В эту минуту по салону пронеслось быстрое перешептывание, и все повернулись к высокой кожаной двери.

Сделалось совсем тихо, слышались мерные приближающиеся шаги. Потом дверь бесшумно распахнулась, и на пороге возник силуэт – неправдоподобно широкий, почти квадратный. Но в следующее мгновение человек шагнул в комнату, и стало видно, что

он самого обыкновенного телосложения, просто одет в широкую черную мантию наподобие тех, что носят европейские судьи или университетские доктора.

Никаких приветствий произнесено не было, однако Коломбине показалось, что стоило кожаным створкам бесшумно раскрыться, и всё вокруг неуловимым образом переменялось: тени стали чернее, огонь ярче, звуки приглушенней.

Сначала вошедший показался ей глубоким стариком: седые волосы, по-старинному остриженные в кружок, короткая белая борода. Тургенев, подумала Коломбина. Иван Сергеевич. Ужасно похож. Точь-в-точь как на портрете в гимназической библиотеке.

Однако, когда человек в мантии встал подле жаровни и багровый отсвет озарил снизу его лицо, оказалось, что глаза у него вовсе не стариковские – черные, сияющие, и пылают еще ярче, чем угли. Коломбина разглядела породистый нос с горбинкой, густые белые брови, мясистые щеки. *Маститый* – вот он какой, сказала себе она. Как у Лермонтова: «Маститый старец седовласый». Или не у Лермонтова? Ах, неважно.

Маститый старец обвел медленным взглядом присутствующих, и сразу стало ясно, что от этих глаз не утаится ни единая деталь и даже, возможно, ни одна потаенная мысль. Спокойный взгляд всего на миг, не

долее, задержался на лице Коломбины, и та вдруг покачнулась, вздрогнула всем телом.

Сама не заметила, как выдернула руку из пальцев «учителя страшной любви», прижала к груди.

Критон прошептал ей на ухо – насмешливо:

– А вот еще из Пушкина.

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.

– Это у вас, что ли, «русые кудри молодые»? – огрызнулась уязвленная барышня. – Да и вообще, ну вас с вашим Пушкиным!

Демонстративно отошла, встала рядом с Петей.

– Это и есть Просперо, – тихонько сообщил тот.

– Без тебя догадалась.

Хозяин дома метнул на шепчущихся короткий взгляд, и сразу наступила абсолютная тишина.

Дождь протянул руку к жаровне, сделавшись похож на Муция Сцеволу с гравюры в учебнике истории для четвертого класса. Вздыхнул и произнес одно-единственное слово:

– Темно.

А потом – все присутствующие так и ахнули – положил раскаленный уголь себе на ладонь. И в самом деле Сцевола!

– Пожалуй, так будет лучше, – спокойно произнес Просперо, поднес огненный комок к большому хрустальному канделябру и зажег одну за другой двенадцать свечей.

Осветился круглый стол, накрытый темной скатертью. Мрак отступил в углы гостиной, и Коломбина, наконец-то получившая возможность рассмотреть «Любовников Смерти» как следует, завертела головой во все стороны.

– Кто будет читать? – спросил хозяин, садясь на стул с высокой резной спинкой.

Остальные стулья, расставленные вокруг стола, числом двенадцать, были попроще и пониже.

Откликнулись сразу несколько человек.

– Начнет Львица Экстаза, – объявил Просперо.

Коломбина уставилась на знаменитую Лорелею Рубинштейн во все глаза. Та оказалась совсем не такой, как можно было бы предположить по стихам: не тонкая, хрупкая лилия, с порывистыми движениями и огромными черными очами, а довольно массивная дама в бесформенном балахоне до пят. На вид Львице можно было дать лет сорок, и это еще в полумраке.

Она кашлянула и низким, рокошущим голосом ска-

зала:

– «Черная роза». Написано минувшей ночью.

Пухлые щеки взволнованно заколыхались, глаза устремились вверх, к радужно посверкивающей люстре, брови скорбно сложились домиком.

Коломбина слегка шлепнула Люцифера, чтоб не отвлекал, не елозил по шее, и вся обратилась в слух.

Декламировала знаменитость замечательно – со страстью, нараспев.

Придет ли Ночь, восторгами маня?
Случится ли Оно иль не случится?
Когда желанный Гость войдет в меня?
Войдет, не постучится.

Избранник мой на воле ли, в тюрьме
Горит и ярко светит,
Но черной розы в сокровенной тьме
Пройдет и не заметит.

И Слово будет произнесено —
Молчание взорвется.
Да будет так. А то, что не дано,
Уйдет и не вернется.

Подумать только – услышать новое, только что написанное стихотворение Лорелеи Рубинштейн! Самой первой, в числе немногих избранных!

Коломбина громко зааплодировала и тут же сбилась, поняв, что совершила faux pas. Аплодисменты здесь, кажется, были не в заводе. Все – в том числе Просперо – молча посмотрели на экзальтированную девицу. Та застыла с растопыренными ладонями и покраснела. Опять срезалась!

Кашлянув, дож негромко молвил, обращаясь к Лорелее:

– Обычный твой недостаток: изысканно, но невнятно. Но про черную розу интересно. Что значит для тебя черная роза? Впрочем, не говори. Догадаюсь сам.

Он прикрыл веки, опустил голову на грудь. Все ожидали, затаив дыхание, а щеки поэтессы запунцовели румянцем.

– А дож пишет стихи? – тихо спросила Коломбина у Пети.

Тот приложил палец к губам, но она сердито сдвинула брови, и он почти беззвучно прошелестел:

– Да. И наверняка гениальные. Ведь никто лучше него не понимает поэзию.

Ответ показался ей странным:

– «Наверняка»?

– Свои стихи он никому не показывает. Говорит, что они пишутся не для людей и что перед Уходом он всё написанное уничтожит.

– Какая жалость! – вырвалось у нее громче нужно-

го.

Просперо опять взглянул на гостью, и опять ничего не сказал.

– Я понял, – улыбнулся он Лорелее ласковой и печальной улыбкой. – Понял.

Та просияла, а дож повернулся к аккуратному, тихому человечку в пенсне и с бородкой клинышком.

– Гораций. Ты обещал, что сегодня наконец придешь со стихами. Ничего не поделаешь. Ведь тебе известно, что Невеста допускает к Себе только поэтов.

– Гораций врач, – сообщил Петя. – Вернее, прозектор – режет трупы в анатомичке. Поступил на место Ланселота.

– А что случилось с Ланселотом?

– Отравился. И компанию с собой прихватил, – непонятно ответил Петя, но расспрашивать было не ко времени – Гораций приготовился читать.

– Я, собственно, впервые имею дело с поэзией... Изучил руководство по стихосложению, очень старался. И вот м-м, в некотором роде, результат.

Он смущенно откашлялся, поправил галстук и достал из кармана сюртука сложенный листок. Хотел начать, но, видно, решил, что объяснил недостаточно:

– Стихотворение по моей, так сказать, профессиональной линии... Тут даже и термины встречаются... Только вот рифма облегченная, во второй и четвертой

строках, а то с непривычки очень уж трудно... После уважаемой м-м... Львицы Экстаза, мои стишки, конечно, будут тем более нехороши, но... В общем, представляю на ваш строгий суд. Стихотворение называется «Эпикриз».

Когда взрезает острый скальпель
Брюшную полость юной дамы,
Что проглотила сто иголок,
Не вынеся любовной драмы,

Не знаешь, плакать иль смеяться,
От чувства странного дрожа:
Так человеческий желудок
Похож на мокрого ежа.

Когда вскрываешь черепную
Коробку юнкера, который,
Бордель впервые посетив,
Суд над собой исполнил скорый,

Найдешь среди каши омертвелой
То, что искал. Чудесный вид:
Свинца кусочек в надбугорье,
Как жемчуг, матово блестит.

Читающий сбился, смял листок и спрятал обратно
в карман.

– Я еще хотел описать легкие утопленницы, но не получилось. Только одну строчку придумал: «Средь сизой массы ноздреватой», а дальше никак... Что, господа, очень плохо, да?

Все молчали, ожидая вердикта председателя (из всех присутствующих сидел по-прежнему лишь он один).

– «Эпикриз» – это, кажется, заключительная часть медицинского диагноза, – задумчиво произнес Просперо. – А что такое «надбугорье»?

– Надбугорье – это русское название эпиталамуса, – охотно пояснил Гораций.

– У-гу, – протянул Просперо. – Вот тебе *мой* эпикриз: стихи ты писать не умеешь. Но ты и в самом деле заморожен многообразием ликов Смерти. Кто следующий?

– Учитель, позвольте мне! – поднял руку плечистый верзила с грубым лицом, на котором странно смотрелись широкие, по-детски наивные глаза. Уж этому-то на что Вечная Невеста, удивилась Коломбина. Ему бы плоты по Ангаре гонять.

– Дож окрестил его Калибаном, – шепнул Петя и счел нужным пояснить. – Это из Шекспира. [Коломбина кивнула: из Шекспира так из Шекспира]. Он теперь служит бухгалтером в каком-то ссудно-кредитном товариществе. А раньше был счетоводом в Доброволь-

ном флоте, плавал по океанам, но попал в крушение, чудом остался жив и в море больше не ходит.

Она улыбнулась, довольная своими физиогномическими способностями – не так уж и ошиблась, насчет плотов-то.

– В умственном отношении полное ничтожество, инфузория, – наябедничал Петя и завистливо добавил. – А Просперо его отличает.

Калибан, громко топая, вышел на середину комнаты, отставил ногу и зычным голосом стал выкрикивать весьма странные вирши:

Остров смерти

Шумит океан широкий,
Синеют высокие волны.
Меж ними остров одинокий,
Весь призраками полный.

Одни лежат на песке,
И по ним ползают крабы.
Другие гуляют в тоске,
Свое мясо сыскать дабы.

Но мяса нет на костях,
Остались одни скелеты.
Внушает ужас и страх

Картина жуткая эта.

Я ночью спать не могу,
И днем я стучу зубами.
На дальнем том берегу
Хочу быть, призраки, с вами.

Будем вместе гулять, как бывало,
Скалить мертвые рты свои
И на зубчатые скалы
Заманивать корабли.

Сначала Коломбина чуть не фыркнула, но Калибан декламировал свои нескладушки с таким чувством, что смеяться ей вскоре расхотелось, а от последней строфы по коже пробежали мурашки.

Она взглянула на Просперо, нисколько не сомневаясь, что строгий судья, осмелившийся критиковать саму Лорелею Рубинштейн, не оставит от этой жалкой поделки камня на камне.

Но не тут-то было!

— Очень хорошо, — провозгласил дож. — Какая экспрессия! Так и слышишь шум океанских волн, так и видишь пенистые гребни. Мощно. Впечатляет.

Калибан просиял счастливой улыбкой, от которой его квадратная физиономия совершенно преобразилась.

– Я же говорю, любимчик, – пробормотал в ухо Петя. – И что он только нашел в этом одноклеточном? Ага, а это мой сокурсник, Никифор Сипяга. Он меня сюда и ввел.

Настал черед того самого некрасивого, угреватого юноши, с которым Петя давеча разговаривал.

Дождь покровительственно кивнул:

– Слушаем тебя, Аваддон.

– Сейчас «Ангела бездны» прочтет, – сообщил Петя. – Я уже слышал. Это его лучшее стихотворение. Интересно, что скажет Просперо.

Стихотворение было такое:

Ангел бездны

Отворился кладезь бездны.

Тьма суха и горяча.

С мерным грохотом железным

Тучей валит саранча.

Кто Божественной печали

В грешной жизни не познал,

Вмиг распознан и ужален

Мановеньем острых жал.

Серебристые копыта

Мнут податливую твердь.

Сражены, но не убиты
Призывают люди смерть.

Вожделенная награда
Ускользает, словно сон.
Смерти нет. Глядит из чада
Ангел бездны Аваддон.

Коломбине стихи очень понравились, но она уже не знала, как к ним следует относиться. Вдруг Просперо сочтет их бездарными?

Немного помедлив, хозяин сказал:

– Неплохо, совсем неплохо. Последняя строфа удалась. Но «ужален мановеньем острых жал» никуда не годится. И рифма «твердь-смерть» очень уж затаскана.

– Чушь! – раздался внезапно звонкий, сердитый голос. – Рифм к слову «смерть» всего четыре, и они не могут быть затасканы, как не может быть затаскана сама Смерть! Это рифмы к слову «любовь» пошлы и захватаны липкими руками, а к Смерти сор не пристаёт!

«Чушью» мнение мэтра обозвал миловидный юноша, на вид совсем еще мальчик – высокий, стройный, с капризно выгнутым ртом и лихорадочным румянцем на гладких щеках.

– Дело вовсе не в свежести рифмы, а в попада-

нии! – не вполне связно продолжил он. – Рифмы – это самое мистическое, что есть на свете. Они как оборотная сторона монеты! Возвышенное они могут выставлять смешным, а смешное возвышенным! За чваным словом «князь» прячется «грязь», за блестящим «Европа» – низменная брань, а за жалким «хлюзда», как обзывают слабых и беспомощных людей, наоборот, таится «звезда»! Меж явлениями и звуками, что их обозначают, существует особенная связь. Величайшим первооткрывателем будет тот, кто проникнет в глубину этих смыслов!

– Гдлевский, – со вздохом пожал плечами Петя. – Ему восемнадцать лет, еще гимназию не закончил. Просперо говорит, талантлив, как Рембо.

– Правда? – Коломбина пригляделась к вспылчивому мальчику повнимательней, но ничего особенного в нем не разглядела. Ну, разве что хорошенький. – А как его прозвище?

– Никак. Просто «Гдлевский», и всё. Он не желает зваться по-другому.

Дождь на смутьяна ничуть не рассердился – напротив, смотрел на него с отеческой улыбкой.

– Ладно-ладно. По части теоретизирования ты не силен. Судя по тому, что так раскипятился из-за рифмы, у тебя в стихотворении тоже «твердь-смерть»?

Мальчик блеснул глазами и смолчал, из чего можно

было заключить, что пронизательный дождь не ошибся.

– Ну же, читай.

Гдлевский тряхнул головой, отчего на глаза ему упала светлая прядь, и объявил:

– Без названия.

Я – тень среди теней, одно из отражений,
Бредущих наугад юдольною тропой.
Но в вещие часы полночных песнопений
Скрижали звездные открыты предо мной.

Настанет срок, когда прощусь с земною твердью —
Зову я гибельность небесного огня —
И устремлюсь вдвоем с моей сестрою Смертью,
Туда, куда влекут предчувствия меня.

Над участью Певца не властен пошлый случай.
Но ключ к его судьбе – в провидческой строке.
Магическая цепь загадочных созвучий
Хранит пророчество на тайном языке.

Комментарий Просперо был таков:

– Ты пишешь всё лучше. Поменьше умствуй, побольше прислушивайся к звучащему в тебе голосу.

После Гдлевского читать стихи больше никто не вызвался, соискатели принялись вполголоса обсуждать услышанное между собой, а Петя тем временем рассказал своей протеже про остальных «соискателей».

– Это Гильденстерн и Розенкранц, – показал он на розовощеких близнецов, державшихся вместе. – Они сыновья ревельского кондитера, учатся в Коммерческом училище. Стихи у них пока не получают – все сплошной «херц» да «шмерц». Оба очень серьезные, обстоятельные, в соискатели поступили из каких-то мудреных философских соображений и уж, верно, своего добьются.

Коломбина содрогнулась, представив, какой трагедией эта немецкая целеустремленность обернется для их бедной «мутти», но тут же устыдилась этой обывательской мысли. Ведь сама не так давно написала стихотворение, в котором утверждалось:

Лишь тот, кто безогляден и стремителен,
Способен жизнь свою испить до дна.
Нет ничего – ни дома, ни родителей,
Есть только блеск игристого вина.

Еще там был низенький полный брюнет с длинным носом, вступавшим в решительное противоречие с пухлой физиономией, его звали Сирано.

– Этот особенно не мудрствует, – покривился Петя. – Знай себе копирует стихотворную манеру ростановского Бержерака: «В объятья Той, что мне мила, я попаду в конце посылки». Записной шутник, фигляр. Из кожи вон лезет, чтоб поскорее угодить на тот свет.

Последнее замечание заставило Колумбину приглядеться к последователю гасконского остроумца внимательней. Когда Калибан рокочущим басом декламировал своё жуткое творение про скелетов, Сирано слушал с преувеличенно серьезной миной, а поймав взгляд новенькой, вдруг изобразил череп: втянул щеки, выпучил глаза и сдвинул зрачки к своему впечатляющему носу. От неожиданности Колумбина прыснула, проказник же поклонился и снова принял сосредоточенный вид. Рвется на тот свет? Видно, не так всё просто в этом веселом толстячке.

— А вот это Офелия, она у нас на особом положении. Главная помощница Просперо. Мы все умрем, а она останется.

Юную девицу в простом белом платье Колумбина заметила лишь теперь, после Петиных слов, и заинтересовалась ею больше, чем прочими членами клуба. Ревниво отметила белую и чистую кожу, свежее личико, длинные вьющиеся волосы — такие светлые, что в полумраке они казались белыми. Прямо ангел с пасхальной открытки. Лорелея Рубинштейн не считалась — толстая, старая и вообще небожительница, но эта нимфа, по мнению Колумбины, была здесь явно лишней. За всё время Офелия не проронила ни звука. Стояла с таким видом, будто не слышала ни стихов, ни разговоров, а прислушивалась к каким-то со-

всем иным звукам; широко раскрытые глаза смотрели словно сквозь присутствующих. Что еще за «особое положение» такое, ревниво нахмурилась новенькая.

— Какая-то она странная, — вынесла свой вердикт Коломбина. — И что он в ней нашел?

— Кто, дож?

Петя хотел объяснить, но Просперо властно поднял руку, и все разговоры сразу стихли.

— Сейчас начнется таинство, а между тем средь нас чужая, — сказал он, не глядя на Коломбину (у той сердце так и сжалось). — Кто привел ее?

— Я, Учитель, — волнуясь, ответил Петя. — Это Коломбина. Я за нее ручаюсь. Она еще несколько месяцев назад сказала мне, что устала от жизни и хочет непременно умереть молодой.

Теперь дож обратил на замершую девицу свой магнетический взгляд, и Коломбину из холода бросило в жар. О, как мерцали его строгие глаза!

— Ты пишешь стихи? — спросил Просперо.

Она молча кивнула, боясь, что дрогнет голос.

— Прочти одну строфу, любую. И тогда я скажу, можешь ли ты остаться.

Срежусь, сейчас срежусь, тоскливо подумала Коломбина и часто-часто хлопала ресницами. Что прочесть? Лихорадочно перебрав в памяти все свои стихотворения, она выбрала то, которым гордилась

больше всего, – «Бледный принц». Оно было написано в ночь, когда Маша прочла «Принцессу Грезу» и после прорыдала до утра.

Бледный принц опалил меня взором
Лучезарных зеленых глаз.
И теперь подвенечным убором
Не украсят с тобою нас.

«Бледный принц» – это было про Петю. Таким он представлялся ей в Иркутске. В ту пору она еще была немножко влюблена в Костю Левониди, который уж и предложение собирался делать (теперь смешно вспомнить!), а тут появился Петя, ослепительный московский Арлекин. Стихотворение про «бледного принца» было написано для того, чтоб Костя понял: меж ними все кончено, Маша Миронова никогда уже не будет такой, как прежде.

Коломбина запнулась, боясь, что одного четверостишья недостаточно. Может, прочесть еще немножко, чтобы смысл стал понятнее? Там дальше было так:

Не стоять нам пред аналоем,
Не ступать на венчальный плат.
Бледный принц прискакал за мною
И позвал в Москву, на закат.

Слава Богу, что не прочла, а то всё бы испортила.
Просперо жестом велел чтице остановиться.

– Бледный Принц – это, конечно, Смерть? – спросил он.

Она поспешила кивнуть.

– Бледный Принц с зелеными глазами... – повторил дож. – Интересный образ.

Грустно покачал головой, сказал тихо:

– Что ж, Коломбина. Тебя привела сюда судьба, а судьбе не перечат. Оставайся и ничего не страшись. «Смерть – это ключ, открывающий двери к истинному счастью». Угадай, кто это сказал.

Она растерянно оглянулась на Петю – тот пожал плечами.

– Это был композитор, величайший из композиторов, – подсказал Просперо.

Никого мрачнее Баха из композиторов Коломбина не знала и неуверенно прошептала:

– Бах, да? – И пояснила, вспомнив злосчастного Гёте. – Иоганн-Себастьян, да?

– Нет, это сказал лучезарный Моцарт, создатель «Реквиема», – ответил дож и отвернулся.

– Всё, теперь ты наша, – прошелестел за спиной Петя. – Я так за тебя волновался!

Он смотрел прямо именинником. Очевидно, счи-

тал, что теперь, когда приведенная им кандидатка прошла экзамен, его статус среди «любовников» повысится.

– Что ж, – приглашающим жестом показал Просперо на стол. – Прошу садиться. Послушаем, что нам скажут духи сегодня.

Офелия опустилась на стул справа от дожа. Остальные тоже сели, положили на скатерть руки, растопылив пальцы так, чтобы мизинцы касались друг друга.

– Это спиритическая фигура, – пояснил Петя. – Она называется «магическое колесо».

Спиритические сеансы были известны и в Иркутске. Коломбина в гостях раза два вертела столы, но это больше походило на веселую игру, вроде святочного гадания: кто-то постоянно прыскал, ойкал, хихикал, а Костя, пользуясь темнотой, все норовил сжать локоть или поцеловать в щеку.

Здесь же всё было всерьез. Дож погасил свечи, осталась только подсветка жаровни, так что лица сидящих были красными снизу и черными сверху – будто безглазыми.

– Офелия, твой час настал, – глубоким, звучным голосом произнес председательствующий. – Дай знак, когда услышишь Иное.

Вот, оказывается, кто такая Офелия, поняла Колом-

бина. Она – самый настоящий медиум, поэтому и похожа на сомнамбулу.

Лицо белокурой нимфы было неподвижно и лишено всякого выражения, глаза закрыты, только губы чуть подрагивали, словно беззвучно нашептывали какое-то заклинание.

Внезапно Коломбина почувствовала, как по пальцам пробежали мурашки, щеки обдало холодным сквозняком. Офелия распахнула длинные ресницы. Запрокинула голову, и оказалось, что ее глаза совершенно черны от расширившихся зрачков.

– Я вижу, ты готова, – все тем же торжественным голосом проговорил дож. – Вызови к нам Моретту.

Коломбина вспомнила – так звали девушку, чью вакансию она заняла. Ту самую бедняжку, что застрелилась вместе с этим, как его, Ликантропом.

Несколько секунд Офелия оставалась без движения. Потом сказала:

– Да... Да... Я слышу ее... Она далеко, но с каждым мгновением всё ближе...

Поразительный у медиума был голос – тоненький, звонкий, совсем детский. Тем удивительнее была перемена, свершившаяся с Офелией в следующую минуту.

– Это я, Моретта. Я пришла. Что вы хотите знать? – проговорила она вдруг совсем иначе – низким кон-

тральто с придыханием.

– Это голос Моретты! – воскликнула Лорелея Рубинштейн. – Вы слышите?

Сидящие за столом зашевелились, заскрипели стульями, но Просперо нетерпеливо тряхнул головой, и все снова замерли.

– Моретта, девочка моя, нашла ли ты свое счастье? – спросил он.

– Нет... Не знаю... Мне так странно... Здесь темно, я ничего не вижу. Но кто-то есть рядом со мной, кто-то касается меня руками, кто-то дышит мне в лицо...

– Это Он! Это Вечный Жених! – страстно прошептала Лорелея.

– Тише! – рявкнул на нее бухгалтер Калибан.

Голос дождя был ласков, даже вкрадчив:

– Ты еще не привыкла к Иному Миру, тебе трудно говорить. Но ты знаешь, что ты должна нам сообщить. Кто будет следующим? Кому ждать Знака?

Тишина стала такой, что было слышно, как потрескивают угли в жаровне.

Офелия молчала. Коломбина заметила, что мизинец Пети Лилейко, сидевшего справа, мелко дрожит. И сама вдруг тоже затрепетала: а что если дух этой самой Моретты назовет новую соискательницу? Но еще сильнее страха была обида. Как это будет несправедливо! Не успела попасть в клуб, еще ни в

чем толком не разобралась, и нате вам.

– А... А-а-а... А-ва... Аваддон, – очень тихо выговорила Офелия.

Все обернулись на некрасивого студента, а его соседи – прозектор по имени Гораций и один из близнецов (Коломбина не запомнила, который) – непроизвольно отдернули руки. На лице Аваддона появилась растерянная улыбка, но смотрел он не на медиума, а на Просперо.

– Благодарю тебя, Моретта, – сказал дож. – Возвращайся в свое новое обиталище. Мы желаем тебе вечного счастья. Позови к нам Ликантропа.

– Учитель... – сглотнув, произнес Аваддон, но Просперо властно качнул подбородком:

– Молчи. Это ничего еще не значит. Спросим Ликантропа.

– Я уже здесь, – хрипловатым, юношеским голосом отозвалась Офелия. – Привет честной компании от молодожена.

– Я вижу, ты и там остаешься шутником, – усмехнулся дож.

– А что ж, здесь весело. Особенно как посмотришь на всех вас.

– Скажи, кто должен быть следующим, – строго приказал духу Просперо. – И без шуток.

– Да уж, этим не шутят...

Коломбина во все глаза смотрела на Офелию. Невероятно! Как могли уста этой хрупкой девочки говорить таким уверенным, естественным баритоном?

Дух Ликантропа отчетливо выговорил:

– Аваддон. Кто же еще? – И со смешком закончил. – Тут уже и брачная постель расстелена...

Аваддон вскрикнул, и этот странный, гортанный звук вывел медиума из транса. Офелия вздрогнула, захлопала ресницами, потерла руками глаза, а когда отняла ладони, лицо уже было прежним: рассеянным, время от времени озаряемым нежной и робкой улыбкой. Да и глаза из черных стали обыкновенными – светлыми, влажными от выступивших слез.

Кто-то зажег свечи, а вскоре загорелась и люстра, так что в гостиной стало совсем светло.

– Как его настоящее имя? – спросила Коломбина, не в силах отвести взгляд от избранника (впрочем, все остальные тоже смотрели только на него).

– Никиша. Никифор Сипяга, – растерянно пробормотал Петя.

Аваддон же поднялся и посмотрел на присутствующих со странным выражением, в котором смешивались страх и превосходство.

– Вот такой карамболь, – рассмеялся он, и тут же всхлипнул, и снова рассмеялся.

– Поздравляю! – с чувством воскликнул Калибан,

крепко пожимая приговоренному руку. – Тьфу, да у тебя вся ладонь в холодном поту. Сдрейфил? Эх, дуракам счастье!

– Что... Что теперь? – спросил Аваддон у дожа. – Никак не соберусь с мыслями... Голова кругом.

– Успокойся. – Просперо подошел, положил ему руку на плечо. – Известно, что духи имеют обыкновение дурачить живущих. Без Знака всё это ровным счетом ничего не значит. Жди Знака и смотри, не наделай глупостей... Всё, собрание окончено. Уходите.

Он повернулся к соискателям спиной, и те один за другим потянулись к выходу.

Потрясенная увиденным и услышанным, Коломбина проводила взглядом неестественно прямую спину Аваддона – тот вышел из салона первым.

– Идем, – взял ее за руку Петя. – Больше ничего не будет.

Вдруг раздался негромкий повелительный голос:

– Новенькая пусть останется!

Коломбина сразу забыла и про Аваддона, и про Петю. Обернулась, боясь только одного – не ослышалась ли.

Просперо, не оглядываясь, поднял руку, поманил пальцем: иди сюда.

Петя, фальшивый Арлекин, жалобно заглянул Коломбине в лицо. Увидел, как оно заливается счастли-

вым румянцем. Потоптался на месте, вздохнул и безропотно вышел.

Еще минута – и Коломбина осталась с хозяином дома наедине.

Сброшенная куколка

«Было так. За окнами выл ветер, сгибая деревья. Грохотала железная крыша, небо озарялось зарницами. Природа неистовствовала, одолеваемая титаническими страстями.

Такие же страсти бушевали в душе Коломбины. Ее маленькое сердечко то замирало, то начинало биться часто-часто, как мотылек о стекло.

А он – он неспешно приблизился, положил ей руки на плечи и в продолжение всего мистического ритуала не произнес более ни единого слова. В речах не было нужды, этот вечер принадлежал безмолвию.

Он сжал Коломбине тонкое запястье, повлек за собой через темную анфиладу. Пленнице казалось, что, пересекая комнаты, она, подобно бабочке, проходит череду превращений.

В столовой она была еще личинкой – влажной от робости, съеженной, бессильной; в кабинете окоченела от ужаса и превратилась

в слепую и бездвижную куколку; в спальне же, на разостланной медвежьей шкуре, ей суждено было обратиться пестрокрылой бабочкой.

Не существует слов, чтобы хоть сколько-то похоже описать случившееся. Глаза той, чья девственность приносилась в жертву, были широко раскрыты, но они ничего не видели – лишь скольжение теней по потолку. Что же до ощущений... Нет, не помню. Попеременное погружение то в холод, то в жар, то снова в холод – вот, пожалуй, и всё.

Наслаждения, о котором пишут во французских романах, не было. Боли тоже. Был страх сказать или сделать что-нибудь не так – вдруг он презрительно отстранится, и ритуал прервется, оставшись незавершенным? Поэтому Коломбина ничего не говорила и ничего не делала, лишь повиновалась его мягким, но удивительно властным рукам.

Знаю наверняка одно: длилось это недолго. Когда я шла обратно через гостиную – одна, свечи не догорели и до половины.

Да-да, он не церемонился с послушной марионеткой. Сначала взял ее просто и уверенно, нисколько не сомневаясь в своем праве, а после поднялся и сказал: «Уходи». Одно, всего одно слово.

Оглушенная, растерянная Коломбина услышала шорох удаляющихся шагов, негромко

скрипнула дверь, и обряд посвящения закончился.

Одежда лежала на полу, и впрямь похожая на сброшенную куколку. Ах, сброшенная куколка – это совсем не то, что брошенная кукла!

Новорожденная бабочка встала, всплеснула белыми руками, будто крыльями. Покружилась на месте. Уходить так уходить.

Шла одна по бесприютному бульвару. Ветер швырял в лицо сорванные листья и мелкий сор. Ах, как ликовала, как неистово радовалась ночь тому, что ее полку прибыло, что падение из света в тьму свершилось!

Оказывается, есть и такое наслаждение – брести по пустым улицам наугад, не зная пути. Чужой, непонятный город. Чужая, непонятная жизнь.

Зато настоящая. Самая что ни на есть».

Коломбина перечла запись в дневнике. Абзац про наслаждение вычеркнула как слишком наивный. Поколебалась насчет безмолвия во время всего мистического ритуала – это было не совсем правдой. Когда, ведя добычу через кабинет, Просперо стал на ходу расстегивать пуговицы на ее лимонной блузе, несмышлениш Люцифер цапнул агрессора своими детскими клычками за палец (должно быть, взревновал), и это чуть всё не испортило. От неожиданности дож вскрикнул, потребовал на время инициации заточить репти-

лию в графин, а укус, две крошечных вмятинки на коже, по меньшей мере минуты две протирал спиртом. Коломбина же в это время стояла рядом в распахнутой блузе и не знала, как ей быть – застегнуться обратно или снять блузу самой.

Нет, не стала про эту мелкую, досадную несущественность – к чему?

Потом села перед зеркалом и долго себя рассматривала. Странно, но никаких особенных перемен – зрелости или там искушенности – в лице обнаружить не удалось. Появятся, но, видимо, не так сразу.

Ясно было одно: уснуть в эту великую ночь не удастся.

Коломбина села в кресло у окна, попыталась высмотреть на пасмурном небе хоть одну, пусть самую маленькую звездочку, но не высмотрела. Даже расстроилась. А потом сказала себе: ну и правильно. Чем краше, тем лучше.

Все-таки заснула. И поняла, что спала, только когда пробудилась от громкого стука.

Уходи

Она открыла глаза, увидела через открытое окно высоко стоящее солнце, услышала звуки улицы: цокот копыт по булыжнику, крики точильщика. И тут же

снова раздалось настойчивое: тук-тук-тук! тук-тук-тук!

Поняла, что позднее утро, что кто-то стучит в дверь, и, возможно, уже давно.

Однако прежде чем открыть, подошла к зеркалу, проверила, нет ли после сна вмятин и складок на лице (не было), провела гребнем по волосам, поправила халат (японского покроя, с горой Фуджиямой на спине).

В дверь всё стучали. Потом раздался приглушенный крик: «Открой! Открой, это я!»

Петя. Ну разумеется, кто же еще? Пришел устроить сцену ревности. Не нужно было вчера давать ему свой адрес. Коломбина вздохнула, пустила волосы через левое плечо на грудь, перетянула алой лентой.

Люцифер аккуратной спиралькой лежал на кровати. Наверно, кушать хочет, бедняжка.

Что ж, налила змеенышу молока в миску и только потом выпустила ревнивца.

Петя ворвался в прихожую бледный, с трясущимися губами. Кинул на хозяйку вороватый (во всяком случае, так ей показалось) взгляд и тут же отвел глаза. Коломбина покачала головой, сама на себя удивляясь. Как можно было принять его за Арлекина? Он – Пьеро, самый настоящий Пьеро, да ведь его и зовут так же.

– Ну, что ты ни свет, ни заря? – сказала она сурово.

– Так за полдень уже, – пролепетал он, шмыгнув носом. Нос был мокрый, красный. Простудился, что ли? Или плакал?

Оказалось – второе. Лицо разжалованного Арлекина исказилось, нижняя губа поползла вперед и вниз, из глаз хлынули слезы. В общем, разревелся по всей форме. Заговорил сбивчиво, непонятно, но не о том, чего ждала Коломбина.

– Я к нему утром, на квартиру... Он снимает, на Басманной, дом общества «Великан»... Как у тебя, на последнем... Чтоб на лекции вместе. И волновался после вчерашнего. Я ведь его догнал вчера, проводил.

– Кого? – перебила она. – Говори ясней.

– Никишу. Ну Никифора, Аваддона. – Петя всхлипнул. – Он словно не в себе был, всё повторял: решилось, конечно, теперь только дожждаться Знака. Я ему говорю: может, Знака еще и не будет, а Никиша: нет, будет, я знаю точно. Прощай, Петушок. Больше не свидимся. Ничего, говорит, я сам этого хотел...

Тут рассказ прервался из-за нового приступа рыданий, но Коломбина уже поняла, в чем дело.

– Что, был Знак?! – ахнула она. – Знак Смерти? Выбор подтвердился? И теперь Аваддон умрет?

– Уже, – прорыдал Петя. – Я прихожу, а там двери нараспашку. Дворник, домовладелец, полиция. Повесился!

Коломбина закусила губу, прижала к груди ладонь – так заколотилось сердце. Дальше слушала, не перебивая.

– И Просперо тоже был там. Сказал, ночью не мог уснуть, а перед самым рассветом явственно услышал зов Аваддона. Встал, оделся и поехал. Увидел, что дверь приоткрыта. Вошел, а Никифор, то есть Аваддон, в петле. Уж и остыть успел... Полиция про клуб, конечно, ничего не знает. Решила, что Просперо и я – просто знакомые удавленника... – Петя зажмурился, очевидно, вспомнив ужасную картину. – Никиша лежит на полу. На шее синяя борозда, глаза выпучены, язык весь огромный, распухший, во рту не помещается. И запах чудовищный!

Петя затрясся, клацая зубами.

– Выходит, был Знак... – прошептала Коломбина и подняла руку, чтоб перекреститься (не от набожности, конечно, а по детской привычке), да вовремя спохватилась. Пришлось сделать вид, что поправляет локон.

– Кто же это теперь скажет? – боязливо поежился Петя. – В стихотворении про Знак ничего нет.

– В каком стихотворении?

– В предсмертном. У наших так заведено. Перед тем, как обвенчаться со Смертью, непременно стихотворение сочинить, без этого нельзя. Просперо называет его «эпиталамой» и еще «мигом истины». Он дал

городовому полтинник, и тот позволил списать. Я тоже себе скопировал...

– Дай! – потребовала Коломбина.

Выхватила у Пети мятый, закапанный слезами листок. Прочла сверху, крупно: «Загадка». Очевидно, название.

Но при Пете прочесть «эпиталаму» было невозможно. Он снова завсхлипывал, принялся пересказывать историю по второму разу.

Тогда Коломбина взяла его за плечи, подтолкнула к двери и сказала одно-единственное слово:

– Уходи.

Точь-в-точь как накануне ночью, уже после всего, сказал ей Просперо. Только еще для пущей эффективности пальцем указала.

Петя умоляюще посмотрел на нее, немного помялся на месте, повздыхал и побрел прочь, как побитая собачонка. Коломбина нахмурилась. Неужто она вчера выглядела так же жалко?

Изгнание плачущего Пьеро доставило ей нехорошую, но безусловную радость. У меня определенно есть задатки роковой женщины, сказала себе Коломбина и уселась к окну читать последнее стихотворение некрасивого человека, носившего при жизни некрасивое имя Никифор Сипяга:

Загадка

Недоброй ночью, нервной ночью
Клыками клацает кровать
И выгибает выю волчью,
И страшно спать.

Спать страшно, но не спать страшнее.
Сквозь бельма белые окон
Скелеты ясеней синеют.
Их скрип, как стон.

Еще я есть на этом свете.
Я – тяжесть, трепет и тепло.
Но в доме Зверь, снаружи ветер
Стучит в стекло.

А будет так: снаружи ветер,
Урчит насытившийся Зверь,
Но только нет меня на свете.
Где я теперь?

Коломбине вдруг стало невыносимо страшно – впо-
ру за Петей бежать, просить, чтоб вернулся.
– Ой, мамочки мои, – прошептала *femme fatale*. –
Какой еще Зверь?

III. Из папки «Агентурные донесения»

*Его высокоблагородию подполковнику Бесикову
(В собственные руки)*

Милостивый государь Виссарион Виссарионович,

После нашего последнего объяснения я не устаю корить себя за то, что не нашел в себе твердости сразу ответить Вам надлежащим образом. Я слабый человек, а Вы обладаете странным свойством подавлять мою волю. Отвратительней всего то, что, покоряясь Вам, я испытываю странное наслаждение, за что сам потом себя ненавижу. Клянусь, я вытраплю из себя это подлое, сладострастное рабство! Наедине с листом бумаги мне легче высказать всё, что я думаю по поводу Вашего возмутительного требования!

Мне кажется, что Вы злоупотребляете моим к Вам расположением и моей готовностью добровольно и совершенно бескорыстно оказывать содействие властям в искоренении смертельной язвы, разъедающей общество. Ведь я рассказывал Вам о своей семейной трагедии – о моем горячо любимом брате, который помешался на идее самоубийства. Я – идейный борец со Злом, а не какой-нибудь «сотрудник», как в Ва-

шем ведомстве именуют платных осведомителей. И если я согласился писать Вам эти письма (не смейте называть их «донесениями!»), то вовсе не из страха быть сосланным за свои прежние политические воззрения (чем Вы мне в свое время угрожали), а единственно оттого, что осознал всю пагубность духовного нигилизма и устранился. Вы совершенно правы: материализм и выпячивание прав личности – это не русский путь, здесь я полностью с Вами согласен и, кажется, уже достаточно продемонстрировал искренность своего прозрения. Однако Вы, кажется, вознамерились лишить меня возможности оставаться порядочным человеком! Это уж слишком.

Заявляю Вам решительно и бесповоротно: не то что настоящих имен членов кружка (впрочем, я по большей части этих имен и не знаю), но даже и принятых меж ними нелепых прозвищ сообщать Вам не стану, ибо это низко и пахнет прямым доношением.

Будьте же милосердны! Я уступил Вашим настоятельным просьбам, дал согласие отыскать тайное общество самоубийц и проникнуть в него, потому что Вы усмотрели в этом зловещем движении политическую подоплеку, подобие средневекового арабского ордена ассасинов, фанатичных убийц, которые ни в грош не ставили человеческую жизнь – ни чужую, ни собственную. Признайте, что я превосходно выпол-

нил Ваше непростое задание, и теперь Вы получаете о «Любовниках Смерти» достоверные сведения из первых рук. И, право, довольно с Вас. Не требуйте от меня большего.

Мне стало окончательно ясно, что Дож и его последователи не имеют ни малейшего касательства к террористам, социалистам или анархистам. Более того, эти люди вовсе не интересуются политикой, а любые социальные вопросы презирают. Можете на сей счет успокоиться – никто из них не кинется с бомбой под колеса генерал-губернаторской кареты. Это извращенные и пресыщенные дети нашей упаднической эпохи – манерные, чахлые, но по-своему очень красивые.

Нет, они не бомбисты, но для общества, в особенности для юных, неокрепших умов «любовники» весьма и весьма опасны – именно этой своей бледной, дурманящей красотой. В идеологии и эстетизме смертолюбов есть несомненный соблазн и ядовитая привлекательность. Они сулят своим последователям бегство в волшебный мир, обособленный от серой и убогой повседневности, – то самое, к чему инстинктивно стремятся возвышенные и чувствительные души.

И главную опасность, конечно, представляет собою сам Дож. Я Вам уже описывал эту страшную фигуру, но с каждым днем она всё более раскрывается предо

мной в своем сатанинском величии. Это упырь, вампир, василиск! Истинный ловец душ, так искусно подчиняющий окружающих своей воле, что, ей-богу, даже Вам до него далеко.

Недавно у нас появилась новенькая – смешная и трогательная девочка, приехавшая откуда-то из Сибири. Наивна, экзальтирована, голова полна всякой блажи, модной среди нынешней молодежи. Если б не угодила в наш клуб, то со временем перебесилась бы, вошла в возраст и стала такой, как все. Обыкновенная история! Но Дождь вмиг опутал ее своей паутиной, превратил в ходячий автомат. Это произошло на моих глазах, в считанные минуты!

Безусловно этому безумию необходимо положить конец, но обычное арестование тут не годится. Арест только сделает из Дождя трагическую фигуру, а уж во что превратится публичный суд и представить страшно! Этот человек живописен, импозантен, красноречив. Да после его выступления на судебном процессе этикие «любовники» заведутся у нас в каждом уездном городишке!

Нет, этого монстра необходимо развенчать, растоптать, выставить в жалком и неприглядном свете, чтобы раз и навсегда вырвать его ядовитое жало!

Да и за что, собственно, Вы могли бы его арестовать? Ведь создавать поэтические кружки законом не

возбраняется. Выход один: я должен выявить в действиях Дожа corpus delicti и доказать, что этот господин осознанно и злонамеренно склоняет некрепкие души к страшному греху самоубийства. Лишь тогда, когда мне удастся раздобыть верные улики, я выдам Вам и имя, и адрес Дожа. Но не раньше, не раньше.

К счастью, меня не подозревают в двойной игре. Я намеренно строю из себя горохового шута и даже получаю род болезненного удовлетворения от нескрываяемо презрительных взглядов, которыми одаривают меня некоторые наши умники во главе с самим Мэтром. Ничего, пусть считают жалким червяком, это удобней для моих целей. Или я и есть червяк? Как Вам кажется?

Ладно, passons. Корчи моего израненного самолюбия не имеют никакой важности. Меня мучает совсем другое: после страшной смерти Аваддона у нас образовалась очередная «вакансия», и я с тоской жду, что за новый мотылек прилетит опалить крылышки на этом адском огне...

Оскорбленный, но искренне уважающий Вас,

ZZ.

28 августа 1900 г.

Глава вторая

I. Из газет

ЛАВР ЖЕМАЙЛО ВСТРЕЧАЕТСЯ С ВЕРХОВНЫМ ЖРЕЦОМ «ЛЮБОВНИКОВ СМЕРТИ»

Итак, свершилось! Вашему покорному слуге удалось проникнуть в святая святых глубоко законспирированного клуба самоубийц, который вновь заставил всех говорить о себе после недавней гибели 23-летнего студента М-го университета С. Описание того, как мне удалось преодолеть все хитроумные препоны и непреодолимые препятствия, дабы достичь заветной цели, могло бы стать сюжетом для захватывающего романа. Однако, связанный словом, я буду молчать и сразу оговорюсь для г.г. полицейских: *никогда и ни при каких обстоятельствах, даже под страхом тюремного заключения, Лавр Жемайло не выдаст своих помощников и информантов.*

Моя встреча с верховным жрецом зловещей

секты смертепоклонников состоялась в темном и мрачном подземелье, местонахождение которого осталось для меня тайной, поскольку мой чичероне доставил меня туда с повязкой на глазах. Я ощущал запах сырой земли, несколько раз по лицу задела свисающая со свода паутина, а один раз мимо с отвратительным пискom пронеслась летучая мышь.

После такой прелюдии я рассчитывал увидеть какой-нибудь жуткий склеп с осклизлыми стенами, но, когда повязку сняли, меня ждало не лишнее приятности разочарование. Я находился в просторной, прекрасно обставленной комнате, напоминающей гостиную в богатом доме: хрустальная люстра, книжные полки, стулья с резными спинками, круглый стол из тех, что используют при спиритических сеансах.

Мой собеседник велел называть его «Дож». Он, разумеется, был в маске, так что виднелись только длинные белоснежные волосы, седая бородка и необычайно острые, вернее даже сказать *пронизывающие* глаза. Голос у Дожа оказался звучным и красивым, а по временам чарующим. Вне всякого сомнения это человек талантливый, незаурядный.

— Я знаю вас, г-н Жемайло, как человека чести и только поэтому согласился с вами встретиться, — так начал разговор мой

таинственный собеседник.

Я поклонился и еще раз пообещал, что «Любовники Смерти» могут не опасаться нескромности или нечестной игры с моей стороны.

Наградой за обещание была пространнейшая лекция, которую Дож прочел мне с необычайным красноречием, так что я поневоле заслушался. Попробую пересказать содержание этой эксцентричной проповеди собственными словами.

Истинная отчизна человека, по утверждению почтенного Дожа, не планета Земля и не состояние, которое мы именуем «жизнью», а нечто совершенно противоположное: Смерть, Чернота, Небытие. Мы все родом из этой сумеречной страны. Там мы обретались прежде, туда вскоре и вернемся. На краткий, несущественный миг мы обречены пребывать на свету, в жизни, в бытии. Именно обречены, то есть наказаны, отторгнуты от лона Смерти.

Все без исключения живущие – отсевки, отбросы, преступники, осужденные на каждодневную муку жизни за какое-то забытое нами, но, должно быть, весьма тяжкое прегрешение. Одни из нас менее виновны и потому приговорены к короткому сроку. Такие возвращаются в Смерть младенцами. Другие, более виновные, осуждены на тяжкие каторжные

работы продолжительностью в 70, 80, а то и 100 лет. Доживающие до глубокой старости – злодеи из злодеев, не заслужившие снисхождения. И все же рано или поздно Смерть в бесконечной милости своей прощает каждого.

Тут ваш покорный слуга, не выдержав, прервал оратора.

– Любопытное суждение. Стало быть, жизненный срок назначен нам не Богом, а Смертью?

– Пускай Богом – называйте как хотите. Только Судия, которого люди нарекли Богом – отнюдь не Господь Всемогуший, а всего лишь причетник, состоящий на службе у Смерти.

– Какой жуткий образ! – воскликнул я.

– Вовсе нет, – утешил меня Дож. – Бог суров, но Смерть милосердна. Из человеколюбия Она наделила нас инстинктом самосохранения – чтобы мы не тяготились стенами своей тюрьмы и боялись совершить из них побег. И еще Она дала нам дар забвения. Мы лишены памяти о нашей истинной родине, об утраченном Эдеме. Иначе ни один из нас не захотел бы длить муку заточения и началась бы всеобщая оргия самоубийств.

– Что ж в этом, с вашей точки зрения, дурного? Вы ведь, кажется, именно к самоубийству и призываете своих членов?

– Неразрешенное самоубийство – это побег из тюрьмы, то есть преступление, караемое новым

сроком заточения. Нет, бежать из жизни нельзя. Но можно заслужить помилование – то есть сокращение срока.

– Каким же, позвольте полюбопытствовать, образом?

– Любовью. Нужно всей душой полюбить Смерть. Манить ее к себе, звать, как драгоценную возлюбленную. И ждать, смиренно ждать ее Знака. Когда же Знак будет явлен, то умирать от собственной руки не только можно, но даже должно.

– Вы говорите про Смерть «она», «возлюбленная», однако среди ваших последователей ведь есть и женщины.

– «Смерть» по-русски слово женского рода, но это условность, грамматика. По-немецки, как известно, это слово мужского рода – der Tod. Для мужчины Смерть – Вечная Невеста. Для женщины – Вечный Жених.

Здесь я задал вопрос, который не давал мне покоя с самого начала этого странного диалога:

– В ваших речах звучит непоколебимая уверенность в истинности высказываемых вами суждений. Откуда вы-то всё это знаете, если Смерть лишила человека памяти о прежнем бытии, то есть, пардон, Небытии?

Дож с торжественным видом ответил:

– Есть люди – редкие особи – у кого Смерть решила отобрать дар забвения, так

что они способны прозирать взглядом оба мира: Бытия и Небытия. Я – один из этих людей. Ведь тюремному начальству нужно иметь в камере старосту из числа заключенных. Долг старосты – приглядывать за своими подопечными, наставлять их и рекомендовать Начальнику тех, кто заслуживает снисхождения. И всё, больше никаких вопросов. Мне больше нечего вам сказать.

– Только один, самый последний! – вскричал я. – Много ли подопечных в вашей «камере»?

– Двенадцать. Я знаю из газет, что желающих примкнуть к нам во много раз больше, но наш клуб открывает двери лишь для избранных. Ведь стать любовником или любовницей Смерти – это драгоценный жребий, наивысшая награда для живущего...

Мне сзади закрыли глаза повязкой и потянули к выходу. Беседа с Дожем, верховным жрецом касты самоубийц, завершилась.

Я погрузился в темноту и поневоле затрепетал, вообразив, что навек опускаюсь в столь дорогую «любовникам» Черноту.

Нет уж, господа, мысленно сказал я, вновь оказавшись под синим небом и ярким солнцем, пускай я осужденный преступник, но «снисхождения» мне не нужно – предпочитаю отбыть свой «срок» до конца.

А что предпочтете Вы, мой читатель?

Лавр Жемайло.

«Московский курьер»

29 августа (11 сентября) 1900 г.

2-ая страница

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.